Евгений

ПЕРМЯК



Классика для школьников

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Рассказы и сказки

Рекомендовано лучшими учителями

АСТ

Бумажный змей. Рассказы и сказки

Евгений Андреевич Пермяк

Аннотация
Евгений Андреевич Пермяк. БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ. Рассказы и сказки
РАССКАЗЫ
Бумажный змей
Как Маша стала большой
Как Миша хотел маму перехитрить
Первая рыбка
Про нос и язык
Торопливый ножик
Кто?
Самое страшное
Пичугин мост
Смородинка
Легкомысленная покупка
Мама и мы
Дедушкины очки
Балкунчик
Славка
Разные цветы
Египетские голуби

Беглая малина
Чижик-Пыжик
Тополя
Солнечный подарок
Одуванчики
Раки
Хромая курица
Про дикую яблоньку
СКАЗКИ
Про торопливую куницу и терпеливую синицу
Ежиха-Форсиха
Мать-мачеха
Гусь лапчатый
Филя
Кто мелет муку
Пропавшие нитки
Хитрый коврик
Свечка
Шумливое море
Луна, Лужица и бельмо на вороньем глазу
Вечный король
Мелкие калоши
Про два колеса
Некрасивая ёлка
Сказка о большом колоколе

Как огонь воду замуж взял
Фока – на все руки дока
Как самовар запрягли
Золотой гвоздь
Самоходные лапотки
Замóк без ключа

Аннотация

Евгений Андреевич Пермяк, настоящая фамилия Виссов (1902–1982), – русский писатель, автор очерков, рассказов, сказок, пьес, повестей, романов. Свой творческий псевдоним писатель выбрал в честь родного города Перми. Ещё в юности он овладел профессиями столяра, слесаря, сапожника, токаря и кузнеца. Поэтому большинство рассказов и сказок посвящены труду: «Как Маша стала большой», «Золотой гвоздь», «Торопливый ножик», «Беглая малина», «Кто мелет муку», «Тайна цены» и другие. В сказках Евгения Пермяка оживают самые обычные вещи, которые нас окружают, а животные наделяются человеческими качествами: «Филя», «Хитрый коврик», «Про торопливую куницу и терпеливую синицу», «Ежиха – форсиха». В своих рассказах автор учит юных читателей тому, как надо ценить дружбу, работу, человеческие отношения, жизнь. В сборник вошли рассказы и сказки писателя, написанные для детей.

Евгений Андреевич Пермяк

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Рассказы и сказки

РАССКАЗЫ
Бумажный змей

Хороший ветерок подул. Ровный. В такой ветер бумажный змей высоко летает. Туго нитку натягивает. Весело мочальный хвост развевает. Красота! Задумал Боря свой змей сделать. Лист бумаги у него был. И дранки он выстрогал. Да недоставало мочала на хвост да ниток, на которых змей пускают. А у Сёмы большой моток ниток. Ему есть на чём змей пускать. Если бы он лист бумаги да мочала на хвост достал, тоже бы свой змей запустил.

Мочало у Пети было. Он его для змея припас. Ниток только ему не хватало да бумажного листа с дранками.

У всех всё есть, а у каждого чего-нибудь да не хватает.

Сидят мальчики на пригорке и горюют. Боря свой лист с дранками к груди прижимает. Сёма свои нитки в кулак зажал. Петя своё мочало за пазухой прячет.

Хороший ветерок дует. Ровный. Высоко в небо дружные ребята змей запустили. Весело он мочальный хвост развевает. Туго нитку натягивает.

Красота!

Боря, Сёма и Петя тоже бы такой змей могли запустить. Даже лучше. Только дружить они ещё не научились. Вот в чём беда.

Как Маша стала большой

Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать, она не знала. Все перепробовала. И в маминых туфлях ходила. И в бабушкином капоте сидела. И причёску, как у тёти Кати, делала. И бусы примеряла. И часы на руку надевала. Ничего не получалось. Только смеялись над ней да подшучивали.

Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И подмела. Да так хорошо подмела, что даже мама удивилась:

— Машенька! Да неужели ты у нас большая становишься?

А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду да сухо-насухо вытерла её, тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех за столом сказал:

— Мы и не заметили, как у нас Мария выросла. Не только пол метёт, но и посуду моет.

Теперь все маленькую Машу называют боль-

шой. И она себя взрослой чувствует, хотя и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платьице. Без причёски. Без бус. Без часов.

Не они, видно, маленьких большими делают.

Как Миша хотел маму перехитрить

Пришла Мишина мама после работы домой и руками всплеснула:

— Как же это ты, Мишенька, сумел у велосипеда колесо отломать?

— Оно, мама, само отломалось.

— А почему у тебя, Мишенька, рубашка разорвана?

— Она, мамочка, сама разорвалась.

— А куда твой второй башмак делся? Где ты его потерял?

— Он, мама, сам куда-то потерялся.

Тогда Мишина мама сказала:

— Какие они все нехорошие! Их, негодников, нужно проучить!

— А как? — спросил Миша.

— Очень просто, — ответила мама. — Если они научились сами ломаться, сами разрываться и сами теряться, пусть научатся сами чиниться, сами зашиваться, сами находиться. А мы с тобой,

Миша, дома посидим и подождём, когда они это всё сделают.

Сел Миша у сломанного велосипеда, в разорванной рубашке, без башмака, и крепко задумался. Видимо, было над чем задуматься этому мальчику.

Первая рыбка

Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Только один Юра не работал. Ему всего пять лет было.

Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить. Много рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже бабушке отдал. Для ухи.

Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу вокруг котелка уселась и давай уху нахваливать:

— Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. Потому наша уха жирна да навариста, что ершище жирнее сома.

А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от крохотного ершишки? Но он всё равно радовался. Радовался потому, что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка.**Ах!**

Ничего Надя делать не умела. Бабушка Надю одевала, обувала, умывала, причёсывала.

Мама Надю из чашечки поила, с ложечки кормила, спать укладывала, убаюкивала.

Прослышала Надя про детский сад. Весело там подружки играют. Танцуют. Поют. Сказки слушают. Хорошо детям в детском саду. И Наденьке было бы там хорошо, да только не взяли её туда. Не приняли!

Ах!

Заплакала Надя. Заплакала мама. Заплакала бабушка.

— Почему вы Наденьку в детский сад не приняли?

А в детском саду говорят:

— Да как мы её примем, когда она ничего не умеет делать.

Ах!

Спохватилась бабушка, спохватилась мама. И Надя спохватилась. Стала Надя сама одеваться, сама обуваться, умываться, есть, пить, причёсываться, спать укладываться.

Как узнали об этом в детском саду — сами за Надей пришли. Пришли и увели её в детский сад, одетую, обутую, умытую, причёсанную.

Ах!

Про нос и язык

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык один и нос тоже один.

— Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему это у меня всего по два, а язык один и нос один?

— А потому, милая внучка, — отвечает бабушка, — чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила и меньше болтала и нос свой курносый куда не надо не совала.

Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному.

Ясно?

Торопливый ножик

Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка получилась.

Неровная. Некрасивая.

— Как же это так? — спрашивает Митю отец.

— Ножик плохой, — отвечает Митя, — косо строгает.

— Да нет, — говорит отец, — ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно терпению выучить.

— А как? — спрашивает Митя.

— А вот так, — сказал отец.

Взял палочку да принялся её строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.

Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился: то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть.

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно.

Кто?

Заспорили как-то три девочки, кто из них лучшей первоклассницей будет.

— Я буду лучшей первоклассницей, — говорит Люся, — потому что мне мама уже школьную сумку купила.

— Нет, я буду лучшей первоклассницей, — сказала Катя. — Мне мама форменное платье с белым фартучком сшила.

— Нет, я… Нет, я, — спорит с подругами Леночка. — У меня не только школьная сумка и пенал,

не только форменное платье с белым фартуком есть, мне ещё две белые ленточки в косички подарили.

Спорили так девочки, спорили — охрипли. К подружке побежали. К Маше.

Пусть она скажет, кто из них самой лучшей первоклассницей будет.

Пришли к Маше, а Маша за букварём сидит.

— Не знаю я, девочки, кто самой лучшей первоклассницей будет, — ответила Маша. — Некогда мне. Я сегодня должна ещё три буквы выучить.

— А зачем? — спрашивают девочки.

— А затем, чтобы самой плохой, самой последней первоклассницей не оказаться, — сказала Маша и принялась снова читать букварь.

Притихли Люся, Катя и Леночка. Не стали больше спорить, кто лучшей первоклассницей будет. И так ясно.

Самое страшное

Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться такого! Товарищей он бил. В девочек из рогатки стрелял. Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на хвост наступал. Коту Мурзею усы выдёргивал.

Колючего ёжика под шкаф загонял. Даже своей бабушке грубил.

Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень гордился. Гордился, да недолго.

Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его — и всё. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись.

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелёными глазами на мальчика смотрит. Сердится.

Решил Вова из-под шкафа ёжика выманить. Куда там! Ёжик давно в другой дом жить перебрался.

Подошёл было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет да слезинки утирает.

Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете: Вова остался один.

Один-одинёшенек!

Пичугин мост

По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах.

— Хорошо бы, — говорит один, — на пожаре ребенка спасти!

— Даже самую большую щуку поймать — и то хорошо, — мечтает второй. — Сразу про тебя узнают.

— Лучше всего на Луну полететь, — говорит третий мальчик. — Тогда уж во всех странах будут знать.

А Сёма Пичугин ни о чём таком не думал. Он рос мальчиком тихим и молчаливым.

Как и все ребята, Сёма любил ходить в школу короткой дорогой через речку Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках, и перескакивать через неё было очень трудно. В прошлом году один школьник не доскочил до того берега и сорвался. В больнице даже лежал. А этой зимой две девочки переходили речку по первому льду и оступились. Повымокли. И тоже крику всякого было много.

Ребятам запретили ходить короткой дорогой. А как длинной пойдёшь, когда короткая есть!

Вот и задумал Сёма Пичугин старую ветлу с этого берега на тот уронить.

Топор у него был хороший. Дедушкой точенный. И стал он рубить им ветлу.

Нелёгким оказалось это дело. Уж очень была толста ветла. Вдвоём не обхватишь. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло через речку.

Теперь нужно было обрубить у ветлы ветви. Они путались под ногами и мешали ходить. Но когда обрубил их Сёма, ходить стало ещё труднее.

Держаться не за что. Того гляди, упадешь. Особенно если снег.

Решил Сёма приладить перильца из жердей.

Дед помог.

Хороший мостишко получился. Теперь не только ребята, но и все другие жители стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть кто в обход пойдёт, ему обязательно скажут:

— Да куда ты идёшь за семь вёрст киселя хлебать! Иди прямиком через Пичугин мост.

Так и стали его называть Сёминой фамилией — Пичугин мост. Когда же ветла прогнила и ходить по ней стало опасно, колхоз настоящий мосток перекинул. Из хороших брёвен. А название мосту осталось прежнее — Пичугин.

Вскоре и этот мост заменили. Стали спрямлять шоссейную дорогу. Прошла дорога через речку Быстрянку, по той самой короткой тропинке, по которой ребята бегали в школу.

Большой мост возвели. С чугунными перилами. Такому можно было дать громкое название. Бетонный, скажем… Или какое-нибудь ещё. А его все по-старому называют — Пичугин мост. И никому даже в голову не приходит, что этот мост можно назвать как-то по-другому.

Вот оно как в жизни случается.

Смородинка

Танюша много слышала о черенках, а что это такое — не знала.

Однажды отец принес пучок зелёных прутиков и сказал:

— Это смородиновые черенки. Будем, Танюша, смородину сажать.

Стала Таня разглядывать черенки. Палочки как палочки — чуть длиннее карандаша. Удивилась Танюша:

— Как же из этих палочек вырастет смородина, когда у них нет ни корешков, ни веточек?

А отец отвечает:

— Зато на них почки есть. Из нижних почек пойдут корешки. А вот из этой, верхней, вырастет смородиновый куст.

Не верилось Танюше, что маленькая почка может стать большим кустом. И решила проверить. Сама решила смородинку вырастить. В палисаднике. Перед избой, под самыми окнами. А там лопухи с репейником росли. Да такие цепкие, что и не сразу выполешь их.

Бабушка помогла. Повыдергали они лопухи да репейники, и принялась Танюша землю вскапывать. Нелёгкая это работа. Сперва надо дёрн снять, потом комья разбить. А дёрн у земли толстый да жёсткий. И комья твёрдые.

Много пришлось поработать Тане, пока земля покорилась. Мягкой стала да рыхлой.

Разметила Таня шнурком и колышками вскопанную землю. Всё сделала как отец велел и посадила рядками смородиновые черенки. Посадила и принялась ждать.

Пришёл долгожданный день. Проклюнулись из почек ростки, а вскоре появились и листочки.

К осени из ростков поднялись небольшие кустики. А ещё через год они зацвели и дали первые ягоды. По маленькой горсточке с каждого куста.

Довольна Таня, что сама смородину вырастила.

И люди радуются, глядя на девочку:

— Вот какая хорошая «смородинка» у Калинниковых растет. Настойчивая.

Работящая. Черноглазая, с белой ленточкой в косе.

Легкомысленная покупка

Однажды я поехал на московский Птичий рынок, чтобы купить попугайчиков, а купил лисенка. Купил, не желая этого. Тётка, продававшая лисёнка, так настойчиво предлагала его, а лисёнок был до того симпатичен и стоил так недорого, что я купил его вместе с корзинкой и привёз на дачу, которую мы арендовали под Москвой.

Жильё для лисёнка придумалось ещё дорогой. По приезде я соорудил из сетки довольно просторный невысокий вольер.

Пол вольера тоже был сетчатым, чтобы лисёнок не убежал. Крыши никакой. А чтобы зверьку не мокнуть, я поставил в вольер плотный ящик, проделав в нем отверстие и застлав его всякими «мягкостями», от ваты до мха.

Лисёнок быстро освоился. Спал в ящике. Забегал в него до наступления дождя, как бы предсказывая этим непогоду. Кормили лисёнка чем только

можно. И конечно, мясом. Покупали третий сорт. Зверёк становился прожорливее, очень быстро подрастая.

К осени он вымахал и стал если не лисой, то уже около этого. Мне домашние сказали, что они уже устали покупать мясо, да и недельный мясной рацион оказался не таким дешёвым. Мясо третьего сорта не всегда можно было достать. К тому же приближалась осень. Не везти же лису в Москву! Выход был единственный и самый простой. Выпустить обжору на волю и пусть заботится сама о себе, живёт на доброе здоровье.

И вскоре, когда лиса забежала в ящик, мы закрыли отверстие, через которое она входила. Затем раскрыли сетчатый вольер и понесли лису в лес.

Пришли на полянку, поставили ящик, открыли дверцу. Вскоре лиса осторожно высунула морду, огляделась, затем вышла. Выйдя, она не захотела уходить в лес. Мы решили пугнуть. Хлопали в ладоши. Бросали в её сторону что попадёт под руку, а она не убегала.

Наконец мы её прогнали в лес и вернулись к себе. Кончилось как будто всё хорошо. Но как выяснилось, ничего не кончилось, а — началось.

Лиса захотела есть и вернулась в вольер. Я

накормил, выпроводил её и заделал отверстие в сетке вольера. Произошло ещё более худшее. Лиса, привыкшая к легкому корму и людям, стала охотиться за курами дачного поселка.

Охотницу скоро опознали. На меня посыпались жалобы. Говорилось определенно и ясно: «Ты завёл, ты и расплачивайся за неё». Я это делал сколько мог, а потом открыл отверстие в сетке вольера и поймал преступницу, решив отдать её в зоопарк. Не превращать же свою старую знакомую в воротник… Но до зоопарка дело не дошло. Выручили пионеры. Взяли лису в уголок живой природы. Что потом было с ней, я не узнавал и узнавать не хотел. Только после этого дал себе слово никогда не заводить диких зверей и не заводил их.

Пусть этим занимаются другие, кто может, у кого есть для этого возможности, навыки, всё прочее. Даже милым безмолвным аквариумным рыбкам и тем нужно тщательно подготовить всё необходимое, прежде чем сделать их своими жильцами. А без этого и жильцам будет плохо, и ещё хуже — их хозяевам.

Легкомысленную покупку сделать нетрудно, да не всегда легко переживать потом её последствия. Щенка и того прежде чем заводить, нужно

продумать всё до последней мелочи…

И опять же всё это я говорю не для досужего поучительства, а на всякий случай, как доброжелательное предупреждение…

Мама и мы

Если обо всём своём детстве говорить, недели, пожалуй, мало будет. А так, кое-что — пожалуйста. Вот, например, случай был…

Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенной газеты. Когда мы вышли, уже смеркалось. Было тепло. Падал крупный, пушистый снег. Видимо, поэтому Тоня и Лида дорогой танцевали танец снежинок. Мой младший брат, ожидавший меня, чтобы идти вместе, подсмеивался над ними:

— Скачут, как первоклассницы!

Снег падал всё гуще и гуще. Танцевать стало нельзя. Снегу навалило до половины валенка.

— Не заблудиться бы! — предупредил нас, на правах самого дальновидного, мой младший братец.

— Да ну тебя, трусишка! — отозвалась Лида. — Через пятнадцать минут будем дома.

Снегопад между тем усиливался. Забеспокоил-

ся и я, зная, как жестоки наши степные сибирские метели. Случалось, что люди теряли дорогу, находясь близ своего дома. Я посоветовал прибавить ходу, но этого сделать уже было нельзя по глубокому слою снега, покрывшему дорогу.

Стало ещё темнее. Наступила какая-то белая снежная темнота. А потом началось то, чего я опасался. Снежинки вдруг закружились… Закружились в таком танце, что через несколько минут началась настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой буран.

Девочки закутали лица платками. Мы с Федей опустили у шапок уши. Узенькая дорожка, которая вела в наше сельцо, то и дело исчезала под ногами. Я шёл первым, стараясь не потерять под ногами дорожный накат. До дому оставалось менее версты. Я верил, что мы выберемся благополучно.

Напрасно.

Дорога исчезла. Будто её из-под ног украл кто-то очень недобрый из сказки моей бабушки. Может быть, Шальная Метелица… может быть, злой старик Буран Буранович.

— Вот, я же говорил! — упрекнул нас Федя.

Лида ещё бодрилась, а Тоня почти плакала. Она уже побывала в пурге со своим отцом. Она

ночевала в снежной степи. Но тогда в санях был запасной теплый тулуп, и Тоня, укрытая им, благополучно проспала ночь. А теперь?

Теперь мы уже выбивались из сил. Я не знал, что делать дальше. Снег таял на моём лице, и лицо от этого обледеневало. Ветер свистел на все лады. Чудились волки.

И вдруг в вое ветра я услышал спокойный голос матери:

«Кого ты испугался? Пурги? Тебе хочется кричать? Кто тебя услышит при таком ветре! Может быть, ты надеешься, что вас найдут собаки? Зря. Какая собака пойдёт в степь при такой погоде! У тебя осталось только одно: зарыться в снег».

Я так отчетливо слышал голос моей матери, отлично зная, что маминым голосом я разговариваю сам с собой в моём воображении. И я сказал:

— Мы сбились с дороги. Мы можем выбиться из сил и замерзнуть. Давайте зарываться в снег, как это делают кочевники.

Видимо, я объявил об этом так твёрдо, что никто не возразил мне. Только Тоня плачущим голосом спросила:

— А как?

И я ответил:

— Так же, как куропатки.

Сказав так, я первым начал рыть колодец в глубоком февральском снегу. Я его начал рыть сначала школьной сумкой, но сумка оказалась толста; тогда я вынул из сумки географический атлас в прочном картонном переплёте. Дело пошло быстрее. Меня сменил брат, потом Тоня.

Тоня даже развеселилась:

— Тепло как! Попробуй, Лидочка. Разогреешься.

И мы стали поочередно рыть колодец в снегу. После того как колодец достиг нашего роста, мы стали прорывать пещёрку в его снежном боку. Когда метель заметет колодец, мы окажемся под снежной крышей вырытой пещёрки.

Вырыв пещёрку, мы стали размещаться в ней. Ветер вскоре замёл снегом колодец, не задувая в пещёрку. Мы оказались под снегом, как в норе. Будто тетерева. Ведь и они, бросаясь с дерева в сугроб и «утонув» в нём, потом проделывают подснежные ходы и чувствуют себя там самым великолепным образом.

Усевшись на школьные сумки, согревая своим дыханием маленькое пространство нашей каморки, мы почувствовали себя довольно уютно. Если бы ко всему этому ещё оказался огарок свечи, мы могли бы видеть друг друга.

У меня был с собой кусок свиного сала, оставшийся от завтрака. И если бы спички, я бы сделал фитиль из носового платка и у нас бы появился светильник. Но спичек не было.

— Ну вот, мы и спаслись, — сказал я.

Тут Тоня неожиданно объявила мне:

— Коля, если ты захочешь, я подарю тебе моего Топсика.

Топсиком назывался ручной суслик.

Суслик мне был не нужен. Я ненавидел сусликов. Но мне было очень приятно Тонино обещание. Я понимал, чем вызван этот щедрый порыв души. Да и все понимали. Не зря же Лида сказала:

— Ты, Николай, теперь у нас сила! Мужчина!

В её голосе я снова услышал голос мамы. Видимо, в каждой женщине, даже если ей всего только двенадцать лет, есть какая-то материнская хитринка, подбадривающая мужчину, если этому мужчине тоже только двенадцать лет.

Я почувствовал себя в самом деле сильным и стал рассказывать бабушкины сказки. Я их стал рассказывать потому, что боялся уснуть. А когда я усну — уснут и остальные. А это было опасно. Можно замёрзнуть. Одну за другой я рассказал, наверное, тридцать, а может быть, и больше

сказок. Когда же вышел весь запас бабушкиных сказок, я стал придумывать свои. Но, видимо, придуманные мною сказки были скучными. Послышался легкий храпоток.

— Кто это?

— Это Тоня, — ответила Лида. — Она уснула. Мне тоже хочется спать. Можно? Я вздремну только одну минуточку.

— Нет, нет! — запретил я. — Это опасно. Это смертельно опасно.

— Почему же? Смотри, как тепло!

Тут я нашёлся и соврал так удачно, что после этого никто не пожелал даже дремать. Я сказал:

— Волки нападают на спящих. Они только того и ждут, чтобы услышать, как храпит человек.

Сказав так, я привёл уйму случаев, выдумываемых мною с такой быстротой, что даже не верится сейчас, как это я мог…

Теперь рассказывали другие. По очереди.

Время шло медленно, и я не знал, полночь сейчас или, может быть, уже брезжит рассвет. Колодец, вырытый нами, давно замела пурга.

Пастухи-кочевники, оказываясь в таком же положении, выставляли из снега высокий шестик. Они специально брали его в степь на случай бурана, чтобы потом их можно было найти, отрыть.

У нас не было шеста, и нам не на что было надеяться. Только на собак. Но и они бы не учуяли нас сквозь толщу снега.

Мое сало давно было разделено и съедено, как и Лидин ломоть хлеба.

Всем казалось, что уже наступило утро, и хотелось верить, что пурга кончилась, а я боялся прорываться наверх. Это значило забить снегом пещёрку, вымокнуть и, может быть, очутиться снова в белой снежной мгле. Но каждый из нас понимал, какое беспокойство мы причинили всем. Нас, может быть, ищут, кличут в степи… И я представил свою маму, которая кричит сквозь ветер:

«Колюнька… Федюнька… Отзовитесь!..»

Подумав об этом, я стал прорываться наверх. Снежная крыша над нами оказалась не столь толста. Мы увидели бледнеющую луну и гаснущие звезды. Занималась какая-то сонливая, словно невыспавшаяся, бледная заря.

— Утро! — крикнул я и стал проделывать ступени в снегу, чтобы выбраться остальным.

С неба сыпались запоздалые снежинки. Я сразу же увидел наш ветряк. Дым из труб поднимался тонкими, будто туго натянутыми, струнами. Люди проснулись. А может быть, они и не спали

в эту ночь.

Вскоре мы увидели наших ребят. Они обрадованно бежали к нам и кричали:

— Живые! Все четверо! Живые!

Мы бросились к ним навстречу. Я не стал медлить и слушать, что рассказывали об этой ночи, обо мне Тоня и Лида. Я побежал к нашему домику.

Саней на дворе не было — значит, отец ещё не вернулся. Открыв дверь, далеко оставив за собой Федюньку, я бросился к маме. Бросился и… что было, то было… и заплакал.

— Да о чём ты? — спросила мать, утирая мне слёзы передником.

И я сказал:

— О тебе, мама… Ты, наверное, голову потеряла без нас.

Мать усмехнулась. Освободилась из моих объятий и подошла к кроватке Леночки. Это наша младшая сестра. Подошла и поправила одеяльце. И сказала ей: «Спи». Хотя та и без того спала и одеяльце незачем было поправлять. Потом она подошла к подоспевшему Федюньке и спросила:

— Валенки не промокли?

— Нет, — ответил он. — Под валенками атлас был. Полушубок вот подмок. Есть я хочу…

— Переобувайтесь да живо за стол, — сказала мать, ничего не спросив о минувшей ночи.

«Да любит ли она нас? — впервые подумал я. — Любит ли? Может, эта ревунья Леночка у неё один свет в глазу?»

Когда мы съели по две тарелки горячих щей, мать сказала:

— Я постлала, ложитесь. В школу не пойдёте. Нужно выспаться.

Я не мог уснуть, а спать хотелось. Я пролежал до полудня в тёмной горнице с закрытыми ставнями.

Нас позвали обедать. Приехал отец. Он уже знал всё от Лиды и Тони. Он хвалил меня. Обещал мне купить маленькое, но настоящее ружьё. Он удивлялся моей находчивости.

А мать?..

Мать сказала:

— Парню тринадцатый год. И смешно было бы, если бы он растерялся в метель да себя с товарищами не спас.

— Анюта!.. — укоризненно заметил отец матери.

А мама перебила отца и сказала:

— Ешь давай! Каша стынет. Хватит разговоры разговаривать! За уроки им браться надо. Ночь

пробродяжничали, день потеряли…

После обеда Тоня принесла мне Топсика. Я не взял его.

Лидина мать, Марфа Егоровна, явилась с большим гусаком и, низко поклонившись матери, сказала:

— Спасибо тебе, Анна Сергеевна, что такого сына вырастила! Двух девок спас. У Тоньки-то сестры есть, а Лидка-то ведь у меня одна…

Когда Марфа Егоровна кончила свои причитания, мама сказала:

— Как тебе не стыдно, Марфа, моего недотёпу Кольку героем выставлять! — и, повернувшись, наотрез отказалась взять гусака.

Вечером мы остались с бабушкой вдвоём. Мать ушла на станцию, к фельдшеру. Сказала, что угорела — болит голова.

С бабушкой мне всегда было легко и просто.

Я спросил её:

— Бабушка, хоть ты скажи мне правду: за что нас так не любит мать? Неужели мы в самом деле такие нестоящие?

— Дурень ты, больше никто! — ответила бабушка. — Мать всю ночь не спала. Ревела как умалишённая… С собакой по степи вас искала. Колени обморозила… Только ты ей, смотри, об

этом ни гугу! Какова она есть, такую и любить надо. Я её люблю…

Вскоре вернулась мать. Она сказала бабушке:

— Фельдшер дал порошки от головы. Говорит, чепуха. Через месяц пройдёт.

Я бросился к матери и обнял её ноги. Сквозь толщу юбок я почувствовал, что её колени забинтованы. Но я даже не подал виду. Я никогда ещё не был так ласков с нею. Я никогда ещё так не любил свою мать. Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки.

А она всего лишь, как бы между прочим, будто телёнка, погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. Видимо, стоять ей было трудно.

В холодной холе растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. Далеко смотрела она. И худого из этого не получилось. Федюнька теперь дважды Герой. И про себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-настрого завещано как можно меньше говорить о себе.

Дедушкины очки

У деда внук был. Не ахти какой самоцвет — парень и парень. Только старик очень внука любил. И как не любить, когда он — дедушкин портрет,

бабушкина улыбка, сыновняя кровь, невесткина бровь и её же румянец.

Отец, мать на работе, а внук при дедушке.

Старик сам на всю семью валенки подшивал и сапожничал по домашности.

Внук около деда вертится — хочет узнать, что к чему. Глазами дедушке помогает. И руками подсобить не отказывается.

Провощит, скажем, дедушка дратву, а щетинку в её конец не может воскать.

— Дай, дедушка, я воску. Ты плохо видишь.

— Да воскёшь ли, внук? Дело хоть простое, а трудное.

Час, другой, третий бьётся внук, а научится. И так всегда.

— Ах ты, дедушкины очки! — скажет старик. — При тебе и без глаз остаться не боязно. Увижу.

Подопрели как-то у старой избы нижние венцы. Менять надо.

— Давай, внук, сами венцы сменим.

— Давай, — отвечает внук. — Только я, дедушка, никогда этого не делывал.

— Не беда, — отвечает дед. — Были бы глаза, а руки при хороших глазах что хочешь сделают. Тащи пилу. Точить будем. Развод зубьям хороший дадим.

Притащил внук пилу и побаивается, чтобы дед руки не повредил.

— Я сам, дедушка. Только ты мне показывай, как зубья разводить, как напильник при точке держать.

Показал дед, как развод зубьям давать, как напильник держать.

Поторопился внук — поранился маленько. А дедушка палец перевязывает да и говорит:

— Пила-топор торопливых не милуют. А мы их терпением обманем да сноровкой перехитрим.

Обманул внук пилу терпением, топор сноровкой перехитрил. Выточил так, что они в дерево, как нож в масло, идут.

— Пойдём теперь, внук, в лес дерева на венцы валить. Только побереги меня, Вася, в лесу от смерти.

— От какой смерти, дедушка?

— Дерева знаешь какие вредные? От себя валишь, а на тебя упадут. Боюсь, как бы меня какое дерево не прихлопнуло. Я ведь ещё хуже видеть стал.

— Ничего, дедушка. Зато я в оба глаза буду глядеть.

Пришли в лес. Дедушка показывать начал, как запил зарубать, куда наклон у дерева, как по

ветру дерево валить.

Хорошо с делом справляется внук — деда оберегает. Сторожко, с умом дерева валит, ноги бережёт.

Пришло время венцы подводить. Дед опять на глаза жалуется:

— Васенька, ты теперь уж вовсе моими очками стал. Гляди, а я рассказывать буду.

Рассказал дед, как бревно замерять, как паз в бревне выбирать, как угол в лапу рубить.

Старается внук. Что дедушка говорит, то и делает. А старик на ощупь руками проверяет, где и что не так — указывает. Подвёл внук венцы, новым мохом пазы проложил, проконопатил. Васины отец-мать диву дались:

— Как это ты всё можешь, сын?

А Вася им:

— Да это не я, а дедушка.

Прошло сколько-то там времени, дед пуще прежнего на глаза жаловаться стал:

— Не могу я, Василий, без работы жить. Руки без дела слепнут, душа старится, сердце останавливается.

А внук припал к дедушке и давай его обнадеживать:

— Не горюй, дедушка. Я за двоих вижу. Моих

глаз нам на обоих хватит.

Давай работать. Ты только говори, а я сам увижу.

Работают дед и внук. В два глаза глядят, в четыре руки мастерят. Печи перекладывают, трубы выводят, рамы стеклят, полы стелют, крыши щепой кроют.

Нарасхват мастера.

Как-то они навесы к рамам привёртывали, и внук отвёртку потерял.

Искал, искал — не может найти. А дед ему:

— Да вон она, Васенька, в стружке лежит.

— Это как же ты, дедушка, увидел её?

— Видно, внук, глаза от работы прозревать начали.

— Может быть, и бывает так, только я не слыхал, чтобы к старости глаза лучше видеть начинали.

Опять прошла неделя, другая. Тонкую работу дед с внуком взяли.

Старинный узор в барском доме для колхозной чайной нанялись подправлять.

— Ты, — говорит внук, — сиди, дедушка, это не по твоим глазам, а я прожилки у листочков наводить буду.

Стал внук прожилки кисточкой выписывать, а дед и говорит:

— Васька, да ты это что? Прожилки листам надо во всю их живую силу давать, а ты их тоньше волоса выводишь.

Слез Василий с подмостей и спрашивает:

— Как это ты, дед, с полу прожилки на листах можешь видеть, когда я их плохо разглядываю?

А дедушка не потерялся да и говорит:

— Молод ещё, значит, мастер. Не можешь пока без дедушкиных очков работать.

Тогда внук и спрашивает:

— Так кто же для кого очки? Ты для меня или я для тебя?

— А это уж тебе, внучек, лучше знать.

Понял тогда Василий про дедову слепоту. Обнял старика:

— Хитрый ты у меня, дедушка. Беда какой хитрый!

А старик на это, не таясь, отвечает:

— Если деду хитрому не быть, так откуда внуку умному да работящему вырасти?

Много лет прошло. Громко Василий работать начал. Во всю силу его трудовая слава зацвела. Василием Петровичем величать стали, редким мастером. Когда же состарился он, сам стал молодым мастерам хитрые «дедушкины очки» надевать. Чтобы глубже свое дело видели да на

работу шире смотрели.

Балкунчик

В Крыму, между посёлками Планерское и Щебетовка, перегородили плотиной сырую балку, и получился отличный ставок.

Прослышав, что в этом водоёме водится рыбёшка, мы отправились попытать счастья. Беседуя о том о сём и, конечно, о крупной рыбе, мы дошли до ставка.

Тишина. Ни души.

Вдруг в кустах мелькнула чья-то полосатая тельняшка.

— Здравствуйте, товарищ капитан! — окликнул мой спутник паренька лет двенадцати.

— Здравствуйте, — ответил тот.

Познакомились. Отрекомендовались друг другу. Он назвался временным помощником пастуха.

— В каникулы дяде помогаю скот пасти да вот рыбачу.

— И удачно? — спросил мой товарищ.

— Ещё бы! Тут рыбу не переловишь.

— А какая здесь рыба? — спросил я.

— Балкунчики, — ответил он.

— Балкунчики? — переспросил я.

— Да. Жирные-прежирные балкуны. Даже на чистой воде жарить можно.

Мы переглянулись. Ни один из нас не только не видел рыбы с таким названием, но и не слыхал о ней. А сознаваться не хотелось — рыбачья гордость не позволяла. Тогда мы пошли в обход.

Мой товарищ спросил:

— Крупные балкуны попадаются?

— Не очень. Зато помногу. Сейчас увидите. Я вершу вытаскивать буду.

Тут наш новый знакомый запустил руку по самую шею в воду и добыл конец бечевы, к которой, как оказалось, была привязана верша.

— Теперь смотрите! — крикнул он и рывком вытащил вершу, сооружённую из проволоки и мелкой металлической сетки.

В верше кишмя кишела рыба. Мы увидели самых обыкновенных карасей.

— Это и есть балкунчики? — спросил мой товарищ.

— Ну конечно! — с гордостью ответил удачливый рыбак, выбирая из верши рыбу.

Крупных карасей мальчик клал в холщовую торбочку, а мелочь — в ведро с водой.

— Это же караси! — сказали мы в один голос. —

Это же самые обыкновенные караси.

— Не-ет… — возразил, улыбаясь, мальчик. — В других ставках караси — это караси. А это — балкунчики.

— Да почему же, — спросил мой товарищ, — они так называются?

И мальчик ответил:

— По дедушке Балкуну. Он умер тем летом. А в пятьдесят третьем году дедушка Балкун в ведре пятнадцать икряных карасей принёс. Золотых. И пустил сюда, в ставок. От тех карасей и стали нарождаться балкунчики. Тысячами пошли. Успевай только закидывать… На удочку с того берега балкуны хорошо клюют. Вечером. Без тридцати штук не уйдёте.

Разговаривая с нами, мальчик погрузил вершу, деловито спрятал конец бечевы на дно и стал объяснять свой уход.

— Как бы не заснули они, — указал он на ведро с мелочью. — Их мне через две горы нужно пронести… А красные черви у вас есть? — спросил он, уходя.

— Есть, — ответил я и спросил: — А зачем тебе нужно эту мелочь за две горы нести?

— Как зачем? Наше звено обязательство выдвинуло — пятьсот балкунов переселить в новый

пруд. Триста с чем-то уже переселили, да здесь их штук сорок. Значит, только сто шестьдесят останется… Ну, я пошёл, а то уже один балкунчик перевернулся. Ничего, отойдёт. Они живучие…

Мальчик, махнув нам рукой, скрылся.

Вскоре я увидел его легко взбирающимся на горушку. Он нёс ведро поочередно то правой, то левой рукой.

Видимо, ведро, наполненное чуть не до краёв водой, было для него нелегким грузом.

Но он спешил. Ему хотелось как можно скорее поселить в новый пруд балкунью мелочь.

Поздно вечером мой товарищ возвращался с большим уловом балкунов.

И я, не прикоснувшись к удилищу, тоже уносил своего так счастливо пойманного балкунчика, ставшего теперь этим рассказом.

Рассказом о старике, прославившем свое имя пятнадцатью карасями, бескорыстно пущенными в безымянный прудок для внуков и раздумья. Рассказом о маленьком заботливом наследнике, каких уже много у нас, очень много, и не только в Крыму…

Славка

У агронома в колхозе «Ленинские искры» подрастал сын Славик. Когда мальчику исполнилось шесть лет, он заявил отцу:

— Папа, я тоже хочу быть агрономом. Я тоже, как ты, хочу выращивать хорошую пшеницу.

— Это очень приятно, — согласился отец. — Давай я отведу тебе поле.

И агроном отвёл своему сыну поле в палисаднике перед окнами дома, где они жили. Поле мальчику показалось очень небольшим. Оно было в один метр длиной и в один метр шириной — квадратный метр.

— Это не беда, — сказал отец. — И на этом поле можно вырастить знаменитую пшеницу.

Вскоре мальчику было показано, как нужно рыхлить землю, на какую глубину засевать маленькую пашню пшеничным зерном и как нужно за ней ухаживать.

Когда появились всходы, Славик очень обрадовался. Он тщательно пропалывал их, а когда земля подсыхала, поливал своё крошечное поле из маленькой лейки.

Пришло время убирать урожай. Славик вместе с

отцом срезал колосья, а затем занялся молотьбой. Молотили дома, на столе. Молотили карандашом, выбивая из каждого колоска зёрна.

Зёрен оказалось много. Ими можно было засеять всю землю палисадника. Но отец сказал:

— Давай посеем только лучшие зёрна.

И Славик стал отбирать лучшие зёрна пшеницы — самые большие, самые пузатенькие. Нелегко было перебрать весь урожай. Не один час потратил Славик в долгие зимние вечера на сортировку зерна. Лучшие взял для семян, а остальные скормил уткам.

Пришла весна. Весной Славик снова перебрал отобранные семена и снова вместе с отцом взрыхлил и удобрил своё маленькое поле. Теперь уже отец работал меньше и меньше указывал.

Весело зазеленели всходы. Выше поднялись стебли. И понятно почему: поле было засеяно лучшими из лучших семенами. А когда появились большие колосья и стали наливаться тяжёлым зерном, Славик часами просиживал у своего поля. Он не мог дождаться урожая. Очень хотелось узнать, каким будет на этот год зерно.

Но однажды пошёл дождь с крупным градом. И Славик заплакал. Он боялся, что град погубит урожай, а поле закрыть было нечем. Но бабушка

бросила через окно большой отцовский зонт, и мальчик раскрыл его над полем. Град больно хлестал Славика, потому что сам-то он был не под зонтом. Он держал зонт на вытянутой руке над своим полем. Из глаз Славика катились слёзы. Но Славик не уступил граду, не ушёл с поля.

— Ты настоящий мужчина, — сказал ему отец. — Только так и можно было защитить дорогие семена.

Чудесный урожай собрал Славик на вторую осень.

Теперь он уже знал, как нужно подсушить колосья, как их обмолотить, легонечко постукивая по ним карандашиком. Не дожидаясь совета отца, Славик отобрал самые крупные зерна. Их нельзя было сравнить с прошлогодними. Те были куда мельче и легче.

На третий год Славик засеял поле самостоятельно. Он хорошо удобрил землю. Хорошо взрыхлил и засеял два квадратных метра. Он переходил уже во второй класс, и ему было под силу справиться с таким опытным полем. И он справился. К тому же ему помогал школьный товарищ.

Намолотив осенью достаточно пшеницы, мальчик пригласил сортировать зёрна друзей из своего класса, и те предложили Славику засеять

большое поле.

Сказано — сделано. Весной ребята огородили большое поле в школьном саду — поле в десять метров длиной и в два метра шириной.

Славика ребята избрали главным агрономом и слушались его во всём. Кропотливо рыхлили землю и пололи сорняки.

Летом пшеница заколосилась ещё лучше, чем в прошлые годы. Заколосилась так, что на неё обратили внимание старики колхозники. Какая это была радость!

Однажды председатель колхоза сказал шутливо Славику:

— Товарищ главный агроном, продай колхозу урожай на семена.

Славик покраснел. Ему показалось, что председатель смеётся над его полем. А председатель не смеялся. Осенью он пришел на обмолот урожая. Урожай теперь молотили почти всем классом Славика. Молотили в тридцать два карандаша.

— Давайте, молодые семеноводы, засеем этим хорошим зерном большое поле. Вместе, — предложил председатель.

Ребята согласились. И вот наступил пятый год. Ребята вышли на сев вместе с колхозниками. И вскоре был снят пятый урожай. Теперь его уже

нельзя было обмолотить даже тысячей карандашей. Молотили на току, по старинке, ударяя колосьями по плетёному коробу. Боялись повредить зёрна.

На шестой год было засеяно огромное поле. А на седьмой и на восьмой новым, чистосортным пшеничным зерном засевались поля соседних колхозов. За ним приезжали издалека. Но всех немыслимо было оделить семенами этого нового, урожайного сорта пшеницы. Давали семян по горсти, по две. Приезжие благодарили и за это.

…Когда я приехал в колхоз «Ленинские искры», мне показали эту отличную пшеницу и сказали:

— Это новый сорт пшеницы. Называется этот сорт «славка».

Тогда я спросил, почему так называется эта пшеница и откуда взялось это название. Может быть, от слова «слава» или «славная»?

— Да нет, нет, — ответил председатель. — Она так называется от имени Вячеслав, которого в детстве звали Славиком, а попросту — Славкой. Я познакомлю вас.

И меня познакомили с высоким голубоглазым застенчивым юношей. Он был очень смущён, когда я его стал расспрашивать о пшенице, а потом рассказал историю этой пшеницы, начиная с

первого урожая в палисаднике.

Разные цветы

Ромаше Ваганову до всего было дело. Он всё принимал близко к сердцу. Всюду старался приложить свои руки.

На его глазах вырос поселок Никитово. Он помнит, как в ковыльной степи закладывали первый дом. А теперь красуются три улицы да ещё намечаются две. Никитово будет маленьким совхозным городком. Так его можно назвать и теперь. В посёлке есть и школа, и почта, два магазина, детский сад, но нет цветов. Почти нет. Нельзя же считать цветами долговязые мальвы да крошечные маргаритки, которые растут в двух-трёх палисадниках. Цветы — это розы, пионы, тюльпаны, георгины, нарциссы, флоксы и другие, которые так нарядно «цветут» на страницах книг о цветах и цветоводстве. Таких книг, надо сказать, в магазине поселка было достаточно, а цветочных семян — ни пакетика. Наверно, магазину не до семян, потому что самые главные товары едва успевают завозить. Заведующий магазином прямо сказал:

— Не разорваться же мне…

Прав он, конечно. У него забот без цветочных семян достаточно, а все-таки он своего милого племянника Стасика не забыл. Подарил ему семена. Разные. Стасик сам говорил об этом в школе. Стасик хоть и не плохой мальчишка, а любит похвастаться.

Конечно, Ромаша мог бы у Стасика Поливанова попросить семян, да как-то язык не повернулся. Не любит Стасик с другими делиться. Он не то чтобы жадненький, а какой-то чересчур бережливый. Мяч футбольный и тот жалеет, хотя одному никак нельзя даже в самый простой футбол играть. Хоть двоих, да надо: один мяч в ворота загоняет, а другой ворота защищает. Поэтому ребята в классе старались у Стасика ничего не просить. Махнул Ромаша рукой на Стасика и пошёл к дедушке. Дедушку тоже Романом звали. Сидят два Романа в натопленной кухне и совещаются о цветах. Совещались они, совещались, придумывали разные ходы-выходы, а потом дед и говорит:

— Ромка, свет-то ведь не клином сошёлся. И неужели все дело в Стаськины семена уперлось? Мир-то ведь велик. Разве мало у нас народа живёт, которым некуда деть цветочные семена!

— Это верно, дедушка, — сказал Ромаша, — но

ведь как узнаешь, у кого лишние семена есть?

— Да ведь ты грамотный человек, — говорит дед, — кликни клич, что, мол, так и так, в хорошем посёлке Никитово всё есть, а с цветами конфуз получается.

— А как я клич кликну, — спрашивает внук, — по радио?

— Можно и по радио, но через газету вернее. Все прочитают. И хоть один человек, да откликнется.

Долго сочинял Ромаша письмо. Дед в двое очков читал написанное. Исправлял. Советовал. Подсказывал. И наконец получилась короткая и хорошая заметка. Ничего в ней ни у кого не просил Ромаша, а рассказывал то, что есть. Про новую школу, про электрическое освещёние, про широкие улицы, про хорошие дома… Ничего не выдумал. Всему точное слово вместе с дедом нашёл, а потом перешёл на цветы. Не жаловался, а просто сказал: «Так уж случилось, что не до цветов пока было нам в молодом целинном поселке Никитове. С другими делами еле справлялись». А потом в самом конце приписал:

«Хорошо бы, если бы кто-нибудь прислал нам хоть немного цветочных семян. Ни одному бы семечку пропасть не дали».

Подписал своё имя и фамилию Ромаша, указал адрес поселка, перечитал написанное, проверил до запятой и послал заказным письмом в «Пионерскую правду».

А вдруг да в самом деле напечатают! А если не напечатают, то всё равно напишут ответ и скажут, куда ему лучше всего обратиться. Время ещё терпит. За окном ещё метелицы метут, а снег и не думает таять.

Почти каждый день дед с внуком о письме вспоминают, дни считают, ответа ждут.

А потом, как это и бывает, забыли о письме. У Ромаши школьные дела. А у Романа Васильевича тем более прибавилось работы с приближением весны. Проверка ремонта тракторов и подготовки к посеву. Проба семян на всхожесть. Беседы с молодыми механизаторами. А депутатские дела — само собой. Они круглый год не останавливаются. Беспокойная старость у старика, зато весёлая — на людях с утра до вечера.

А письмо Ромаши между тем было прочитано в редакции, похвалено и напечатано. Ромаша и не знал, получив номер «Пионерской правды», что в нём красуется в рамочке с цветочками его заметка. Он, как всегда, пришёл в школу, сунул в парту свою сумку и решил сбегать в уголок

живой природы, проверить, как себя чувствуют ежи. В коридоре его остановил Стасик.

— Пришлют, думаешь? — спросил он.

— Ты о чем?

— О газете.

В руках Стасика была газета «Пионерская правда» с заметкой. Ромаша хотел взять газету, но верный себе Стасик сказал:

— Я сам ещё не всю прочитал…

Ромаша не успел сказать Стасику то, что нужно было сказать, как в его руках оказались сразу три газеты.

Какое счастье читать в газете написанные тобою слова! Не беда, что заметку немножечко сократили. Зато жирными буквами приписали от редакции очень хорошее обращение. Редакция надеялась, что школьники поселка Никитово не останутся в этом году без цветочных семян. И надежды редакции оправдались.

Не прошло и дня, как пришли сразу три телеграммы о присылке семян. Затем пошли письма. Никогда ещё в Никитовское почтовое отделение не приходило столько писем, бандеролей и посылок. Ромаша и не предполагал, что «Пионерскую правду» читают миллионы ребят. Не ожидал этого и его дед. Стали приходить ящики с лукови-

цами, корневищами, черенками, отводками. Всё это нужно было где-то хранить. Радость перешла в испуг. Часть присланного стали складывать в школе, а потом ребята были вынуждены обратиться в дирекцию совхоза.

— Мы же не знали, что так будет, — жаловался директору совхоза Ромаша. — А дедушка говорит, что это ещё только начало, что потом ещё больше будет. Что делать, Николай Петрович?

Николай Петрович был из тех директоров, у которых на всё хватит времени и внимания, для которых должен быть решён каждый вопрос, каким бы он ни был. И он сказал Ромаше:

— Что же ты наделал, товарищ Ваганов? Ударил в колокол, а о последствиях своего звона и не подумал. И деда вовлёк, и почте работы задал… Не планово, братец, это, не планово.

Ромаша не оправдывался.

Николай Петрович, во-первых, предложил создать комиссию по распределению семян и предложил председателем комиссии Ромашу.

И вот началось распределение. Жители Никитова получили первыми цветочные дары. По всему было видно, что розданные семена попадают в хорошие руки.

И у каждого, и у всех появились цветы. Они

запестрели в палисадниках перед окнами, в школьном саду и на площади поселка. Они зацвели возле почты и у магазина. Они появились и в глиняных горшках на подоконниках домов. И все говорили о цветах.

Молчал только Стасик. Цветы не радовали его. Они не то посмеивались над ним, не то упрекали его, и Стасик старался обходить их. Но этого сделать было нельзя. Этого сделать было нельзя вовсе не потому, что Стасик всюду встречался с цветами, а потому, что никому не удавалось уйти от своей памяти, от своей совести. Не ушёл от них и Стасик.

Ребята уже забыли, что Стасик пожалел для них цветочные семена, а он помнит и никогда не забудет этого.

Египетские голуби

Голубятню Сеня построил хорошую, тёплую. Дядя помог. Дядя, как и Сенина мать, служил тоже дворником, только в другом доме.

Теперь оставалось раздобыть деньги на покупку голубей. Это дело нелёгкое. Кроме Сени, у матери ещё трое ребят, и у неё каждая копейка на счету. Но всё же Сеня сумел скопить кое-что.

И если бы продать коньки, то у него бы хватило денег на пару простых голубей. А потом у них появятся голубята. Голубята подрастут, и у них тоже выведутся голубята… И так бы пошло.

Но как можно лишаться коньков! Они необходимы девятилетнему человеку. Голуби не могут заменить катание на коньках. А занять мальчику деньги не у кого. Да и как займёшь? Отдавать ведь надо.

Как-то, в большом раздумье, сидел Сеня возле своей голубятни. К нему подошёл жилец из девятой квартиры. Андрей Олимпиевич. Артист. Очень хороший человек. Ему и роли в театре давали тоже хорошие. Он играл добрых стариков. Сеня уже раз пять видел Андрея Олимпиевича в театре и хлопал ему больше всех. И вообще у них была дружба, потому что у Андрея Олимпиевича не было сыновей. Да и никого у него не было, кроме Медвежки. Хорошая собака, только ужасно глупая. Калоши грызла.

— Ну, как дела, орёл? — спросил Сеню Андрей Олимпиевич.

И Сеня рассказал о своих затруднениях. На это Андрей Олимпиевич ответил так:

— Купи корму, а об остальном позабочусь я.

И он позаботился.

В воскресенье у Сени появилась пара удивительно красивых голубей. В них было прекрасно всё, и особенно хвосты. Они, как раскрытые веера, настолько украшали птиц, что Сеня даже дрожал от радости.

Он знал по рассказам других, что есть редкая порода павлиньих голубей, у которых именно такие хвосты.

— Как называются, Андрей Олимпиевич, эти голуби? — спросил Сеня.

Андрей Олимпиевич улыбнулся в ответ, потом обнял Сеню и таинственным шёпотом сказал:

— Это, мой друг, египетские голуби. Да, египетские.

И Сеня не стал оспаривать. Ему даже было приятно, что у него появились египетские, а не какие-то другие голуби, потому что в эти дни все говорили о Египте. Говорили о том, как на Египет напали чужеземные войска.

Сеня слышал, что на свете есть такая страна — Египет, но где она находится, он не знал: географию не изучали в третьем классе. Но, так как голуби были египетские, Сене пришлось получше узнать о Египте.

И он узнал. И ему Египет и египтяне очень понравились, потому что они любят и защищают

свою страну и никакими бомбами их нельзя запугать.

А если египтяне хорошие, то у них не могут быть плохие голуби. Не зря же Андрей Олимпиевич купил именно этих голубей! И, наверное, для того, чтобы сбить цену египетским голубям, называли их «павлинками».

Пусть как угодно называют, хоть индюшками, пусть каких угодно предлагают, Сеня не будет обменивать подаренное. Он никому не отдаст своих голубей, которые, может быть, прилетели сюда, спасаясь от войны.

Вскоре в Москве начались демонстрации. Люди несли на палках фанерные, картонные листы, и на листах было написано: «Руки прочь от Египта!» Некоторые несли нарисованных голубей, а некоторые — живых.

Сеня пристал к одной такой демонстрации. Потому, что он тоже возмущался и ему тоже не хотелось, чтобы захватчики надругались над египетской землёй. Ведь это же, кроме всего прочего, родина его голубей!

Египетское посольство было далеко от дома, где жил Сеня. А Сеня жил у Заставы Ильича. Но ему нетрудно было прошагать с демонстрацией через весь город — на улицу Герцена, где тогда

жил египетский посол.

Когда посол вышел на крыльцо, чтобы поблагодарить демонстрацию, Сеня впервые увидел живого египтянина. Посол ему показался очень красивым и очень вежливым. И это было вполне понятно для Сени.

Когда посол произносил на своем языке речь, два мальчика выпустили двух голубей. Маловажных. Вроде тех, что предлагали Сене. Они взлетели тяжело, как курицы, и посол, наверное, даже не посмотрел на них.

И Сеня подумал: «Если бы я выпустил своих египетских, посол бы очень обрадовался. Он бы сразу узнал своих родных голубей».

Так он подумал, но делать этого не собирался, потому что его голуби ещё не обсиделись в голубятне. И они не прилетели бы с улицы Герцена через всю Москву к Заставе Ильича. А выпустить перед египетским послом египетских голубей Сене очень хотелось.

На другой день демонстраций было ещё больше, и ещё больше несли голубей. И Сеня не выдержал. Он посадил своих голубей в ту же корзину, в которой принёс их Андрей Олимпиевич.

И вот настала минута, когда нужно было выпустить голубей.

Сеня протискался вперёд, к крыльцу посольства, и выпустил перед египетским послом своих египетских голубей.

Голуби взлетели так быстро, что посол едва заметил их. Но всё же Сене показалось, что он улыбнулся ему. А демонстранты похвалили Сеню. Один даже сказал:

— Настоящий парень!

Это всё было бы очень приятно, если бы голуби полетели в сторону дома. Они полетели на Красную Пресню. Совсем в другую сторону.

Сеня помчался домой. Он страшно спешил, ехал с пересадками. Тяжело дыша, он подбежал к открытой голубятне.

Голуби не вернулись. «Может быть, ищут дорогу домой», — подумал он и решил ждать.

Время шло, а голуби не возвращались.

Андрей Олимпиевич застал Сеню плачущим подле голубятни. Узнав, в чём дело, растроганный артист твёрдо сказал:

— Голуби улетели в Египет и скоро вернутся. Обязательно вернутся! Как могут они не вернуться к такому хорошему мальчику, который не пожалел для Египта единственную пару своих голубей?

— Когда? — спросил Сеня. — Когда?

И Андрей Олимпиевич ответил на это:

— Нужно подсчитать дни. Пойдём ко мне.

Когда Сеня появился в квартире Андрея Олимпиевича, начался сложный подсчёт. Друзья оказались перед развернутой картой мира.

Андрей Олимпиевич взял линеечку и стал говорить:

— Сейчас твои голуби летят где-нибудь между Орлом и Курском. Вот здесь. — Он показал на карте. — Если они полетят прямой дорогой в Египет, то вернее всего, что заночуют в Крыму. Да. В Симферополе или даже в Севастополе.

Артист положил на карту линейку и прочертил карандашиком прямую линию от Москвы до главного города Египта — Каира. И оказалось, что прямой путь голубей проходит через Севастополь.

— Вы думаете, Андрей Олимпиевич, они в самом деле полетели к себе на родину? — спросил Сеня.

— Не думаю, а знаю, — сказал артист. — Уж кому-кому, а мне известны повадки египетских голубей. Они очень часто летают к себе домой и возвращаются со своими родственниками. С двоюродными братьями, сёстрами, просто с хорошими знакомыми.

— А зачем?

— Во имя дружбы. Да и потом, всякому разумному голубю понятно, что в хорошей голубятне, в такой, как у тебя, веселее жить большой компанией.

У Сени раскраснелось лицо. Глаза зажглись двумя синими огнями. Он, часто замигав, спросил:

— И вы думаете, Андрей Олимпиевич, что и мои прилетят с двоюродными братцами?

— Убеждён.

— А когда?

— Давай продолжим вычисления… Сегодня, мне кажется, они переночуют в Севастополе. Их, наверное, покормят моряки. Они страшно любят чаек, голубей. Вообще это удивительно милые люди. А утром голуби полетят через Черное море. И, как мне кажется, они остановятся где-нибудь на берегу Средиземного моря.

— Вот тут? — спросил Сеня, указав на карте точку пересечения карандашной линии и берега Средиземного моря.

— Да. Здесь им необходимо будет отдохнуть. Пообедать. Я думаю, что в Турции тоже немало хороших людей, и они бросят им горсть кукурузных зёрен. А потом голуби полетят через большое Средиземное море прямо в Каир.

— Но ведь там война, — сказал Сеня. — А вдруг они будут убиты?

Артист на минуту задумался, а потом ответил:

— Такая возможность, конечно, не исключена. Но будем надеяться на лучшее. Не такие же дурачки твои голуби, чтобы лезть под бомбы! Облетят сторонкой. Словом, послезавтра, в среду вечером, они долетят. Четверг они проведут в Египте. Полетают по родным, по знакомым. Поклюют в гостях хороших зёрен, и, наверное, в пятницу… нет, вернее всего, в субботу утром они вылетят обратно. Тем же путем. Значит, в воскресенье вечером нужно будет открыть голубятню, насыпать овсянки и гороху. Вот и всё. Не так уж долго тебе ждать до воскресенья.

Затем Андрей Олимпиевич стал собираться в театр. Он был занят в спектакле.

Сеня, счастливый, отправился домой. Ему снились хорошие сны. Он видел море, над которым летят его голуби. Высоко-высоко. Он видел, как встречали в голубиных гнездах гостей из Москвы. Египетские голуби хотя и ворковали на своём египетском языке, но Сене всё было понятно. Они хвалили свою московскую голубятню у Заставы Ильича и очень хорошо говорили о Сене.

Дни шли медленно, но шли. Настало воскре-

сенье.

Андрей Олимпиевич, уходя куда-то, сказал:

— Не забудь открыть сегодня голубятню. Вечером они должны прилететь.

Сеня весь день просидел у своей голубятни, а голуби не прилетали.

Настал вечер. Мать позвала Сеню домой. А как уйти? Они прилетят, а кто закроет дверцы?

Выручил Андрей Олимпиевич. Он сказал:

— Я подежурю. У меня сегодня нет спектакля. Они могут прилететь поздно ночью. Дует встречный северный ветер, им трудно лететь. Спи!

И Сеня уснул. Он проснулся, когда ещё совсем было темно. Мать, подавая ему ключ от голубятни, сказала:

— Андрей Олимпиевич велел сказать тебе, что они прилетели в полночь. Шесть штук. Чем кормить станешь такую ораву?

Никогда ещё не было таким торопливым одевание. Сеня выбежал из дому, не умывшись. Подбежав к своей голубятне, он увидел шестёрку пугливых голубей.

Среди них он не узнал своей старой пары, которая была знакома ему до перышка, до коготка.

«Может быть, изменились в дороге», — решил он, не желая думать иначе, хотя ему в голову лез-

ли всякие подозрения относительно появления голубей в воскресенье — в этот единственный день недели, когда в Москве открыт Птичий рынок.

И в классе не верили, что Сенины голуби летали в Египет и вернулись оттуда вшестером. Не верили, но рассказывали на разные лады о том, как египетские голуби, побывав на родине, прилетели в Москву.

В театре, где работал Андрей Олимпиевич, артисты тоже не верили рассказу о египетских голубях. Не верили, но пересказывали эту историю за кулисами и дома.

Я тоже не верю этому. Но мне так приятно переносить сейчас на бумагу рассказ о египетских голубях, услышанный мною в театре, где играет хорошие роли добрых стариков превосходнейший человек и отличный артист Андрей Олимпиевич.

Беглая малина

В подмосковном пионерском лагере ожидали гостей. Артистов цирка. Готовились с утра. Одни на лужайке сооружали подобие цирковой арены. Другие подметали дорожки. Третьи набирали бу-

кеты цветов… Каждому звену находилась работа. И звену Кости Яблочкина тоже нашлось дело. По кулинарной части. Нужно же угостить артистов. И не просто так, а по-настоящему. Поэтому одни решили наловить рыбы для ухи, а другие должны были набрать ягод. Малины. На десерт.

Рыбаки поднялись раньше всех. На зорьке. По случаю приезда таких редких гостей ребятам разрешили нарушить распорядок дня лагеря. Сборщики малины тоже хотели отправиться до восхода солнца, да начальник лагеря сказал:

— Это ещё зачем? Малина не рыба, она и днем «клюёт».

— Да нет, — начали было ребята, — эту малину только утром можно собрать.

Начальник лагеря не обратил на это внимания.

— Хорошо. Не по-вашему, не по-моему. Разрешаю в семь утра.

Настаивать ребята не стали, потому что малина, которую хотели собрать они, была спорной ягодой. Невыясненной. Неизвестно чьей. И рассказывать об этом Косте Яблочкину не хотелось. Начнутся спросы-расспросы, и, чего доброго, запретят собирать эту малину. Про неё лагерная повариха Мария Михайловна рассказала очень

интересную историю во время Костиного дежурства на кухне.

Неподалеку от пионерского лагеря, в дачном городке, жил Михаил Максимович Потапов. Жил он замкнуто и одиноко. Никто, кроме его сестры, такой же нелюдимой женщины, не хотел жить в его даче. Сыновья и дочери очень редко навещали Потапова, хотя комнат в его большом доме было достаточно и в них могли бы разместиться и дети и внуки. Дача могла бы стать весёлой и шумной, а этого не случилось потому, что людям скучно было жить за высоким забором, где царило безмолвие.

Потапов когда-то занимал видное положение, а потом вышел на пенсию. Ему помогли построиться. Дали большой земельный участок. И он отгородился от всех. Почему так произошло, никто не знает. Говорят, что всё дело было в его характере.

Михаил Максимович вырастил большой хороший сад. Развёл пчёл. Построил теплицу. Выводил редкие растения. Жил на даче почти безвыездно.

Высок потаповский забор, а всё же люди знали о жизни Михаила Максимовича больше, чем он думал. Плотен забор, и всё же щели есть. Ну, а коли есть щели — как от чужих глаз убережёшься!

Особенно — от любопытных ребячьих глаз.

За высоким потаповским забором было немало чудес. Во-первых, удивительные растения. Во-вторых, прудик. Небольшой, а рыбный. В-третьих, белки. Этих зверьков у Потапова было штук двадцать. Они жили в больших клетках.

На участке виднелось множество птичьих домиков. И жили в них не только скворцы. Для всякой птицы своё особое жилье. Старик знал, кому и какую нужно построить квартиру. Строил сам.

Водились у Потапова и ежи. Они были тоже ручными, как и белки. На прудике плавали два чёрных, два белых лебедя. И вообще за зелёным забором было множество разных забав. Белки, лебеди — это ещё что… В большом вольере жили зелёные и голубые попугайчики. По жёлтым песчаным дорожкам разгуливал павлин с павлинихой. И всё это было для одного него, для Михаила Максимовича Потапова.

Злым человеком Михаила Максимовича никто бы не назвал. Жадным тоже. Но всё же он жил сам для себя. Может быть, он был скопидомом? Нет. У него достаточно большая пенсия. Его заслуги очень высоко ценились правительством. Он много сделал для своей страны. И никому

не приходило в голову упрекнуть Михаила Максимовича за его двухэтажный дом и за его громадный участок с богатейшим садом. Он же не наживался на саде. Не продавал выращенных плодов. Они просто осыпались и сгнивали на земле. Конечно, это было тоже нехорошо. Лучше бы отдавать урожай. Хоть бы какая-то была польза. И не только польза, но и добрая слава. Отличные яблоки вызревали в потаповском саду. Сочные груши висели на деревьях. Ну а уж про вишню, крыжовник, смородину — нечего и говорить. Их коробами не вытаскаешь, на тачках не вывезешь. Но для этого кто-то должен был приходить, снимать плоды, уносить или увозить их… Канительное это дело. За каждым смотри. Один розы, не заметив, вытопчет, другой неосторожно на дерево влезет — ветви поломает. Павлинов нечаянно могут выпустить. Белок напугать. Не оберёшься хлопот. Лучше уж пусть осыпаются яблоки, падают груши, а ягоды съедают птицы. Зато без канители.

Сад между тем разрастался с каждым годом, а Михаил Максимович подсаживал новые растения. И, когда было засажено всё, Михаил Максимович обратил внимание на пустующую полосу, тянущуюся вдоль забора, куда не загляды-

вало солнце. А какое растение заставишь расти без солнца? Крапива и та к свету тянется.

Однако Михаил Максимович решил во что бы то ни стало засадить и эту тёмную полосу. Он вычитал в какой-то из книг о тенелюбивом сорте малины. Разыскал её, привёз и посадил, а до этого хорошо удобрил землю.

На следующий год малина весело зазеленела, а ещё через год принесла плоды. Михаил Максимович был очень рад, что перехитрил природу и заставил расти малину в тени. Но радость была недолгой. Густо посаженная, обильно удобренная малина дала плохой прирост. Молодых ветвей оказалось куда меньше, чем старых.

Потапов решил, что малина ещё не прижилась. Но это было не так. Не он перехитрил малину, а она его.

Спустя ещё год у малины почти не оказалось прироста. Зато по ту сторону забора, где было светло, тепло и солнечно, появилось множество малиновой поросли. Михаил Максимович не заметил этого. Ему и в голову не приходило, что корни малины тянулись в прогретую солнцем землю. И когда по эту сторону забора малины вовсе не оказалось, когда она вся перекочевала к солнышку, когда Потапов увидел за своим

забором густые заросли малинника, у него похолодело сердце.

Как же это так? Малину сажал он. Сажал для себя, а она убежала от него и стала расти по ту сторону его ограды. Пусть ему не нужны были ягоды, но было неприятно видеть убежавшую малину, ставшую теперь ничьей малиной. Ничьей, потому что она росла за его забором на придорожной земле.

Потапов знал, что убег малины был замечен в дачном городке. Он знал, что люди посмеиваются, глядя на убежавшую малину. И кто-кто, а уж ребятьё больше всех рады-радешеньки даровой малине, которая так буйно цвела по весне и так красиво красовалась по осени.

Конечно, Михаил Максимович не будет собирать этой малины. Зачем она ему? Пусть рвут другие и посмеиваются над ним. Пусть. Не выламывать же её побеги. Ещё обвинят в жадности. И без того всякое-разное говорят про его дачу. Но стоит ли ему об этом думать…

А думать пришлось. Пришлось потому, что никто в садовом городке — ни один мальчик, ни одна девочка — не прикоснулся к этой придорожной малине. Она хотя и была беглой, но потаповской. Она хотя и росла на общественной,

неограждённой земле, но пришла от корней, посаженных Потаповым.

И в этом году малина уже начала осыпаться, но ни одну ягодку не подняла ничья ребячья рука. Люди как бы показывали этим своё отношение к отгородившемуся от всех Михаилу Максимовичу. И он впервые задумался над своим образом жизни, над своей отчужденностью.

Пустячный случай с убежавшей малиной мешал жить Потапову. Малина словно не просто ушла от него, а надругалась над ним, сшутила злую шутку.

А Косте Яблочкину не было до этого дела. Он знал, что приезжают гости, что будет цирковое представление и что на его обязанности лежит угощение. Поэтому какие же могут быть разговоры — малину нужно собрать. Не пропадать же ей, как пропадает потаповский плодовый урожай. И, кроме этого, не для себя же Костя собирает малину, а для гостей.

Рассуждая так, Костя шёл с ребятами в дачный городок прямой дорогой за беглой малиной. Но всё же какие-то сомнения закрадывались.

— Костя, — спросил один из ребят, — а нам не попадёт за эту малину? Всё-таки она спорная.

И второй пионер, Пчеликов, тоже засомне-

вался:

— Она хоть и у забора растёт, а забор-то чужой.

— Ну и что? Пусть чужой забор, а земля общая. Значит, и малина общая.

А Владик опять:

— Общая-то общая, а корни не общие. Возьмут и припишут нам хищение.

В это время ребята увидели человека, склонившегося над муравейником.

— Вот что, — предложил Костя, — давайте спросим у него. Пусть он скажет — хищение это или не хищение. И решим…

Ребята подошли к незнакомцу. Поздоровались с ним, пожелали доброго утра и, чтобы начать разговор, спросили, правильно ли они идут к дачному городку.

Незнакомец оказался человеком хмурым и неразговорчивым. Но Костя Яблочкин прибегнул к испытанному средству. К вежливости:

— Может быть, вам нужна помощь? Пожалуйста.

Незнакомец поднял на ребят свои усталые, не очень добрые глаза и сказал:

— Помощь мне нужна. Только сумеете ли помочь?

— Сумеем, сумеем, — отозвались ребята.

— Ну, тогда помогайте.

Оказывается, этот пожилой человек пришёл в лес за муравейником. Он решил переселить к себе муравьев. Зачем это было ему надо, ребята не спросили. Может быть, для каких-нибудь исследований. Вернее всего, это так и было. Незнакомец походил на учёного. И как знать, может быть, он какой-нибудь муравьевед.

Около муравьиной кучи стояли довольно большой фанерный ящик и тачка. У дерева стояли вилы. Нужно было очень быстро перекидать муравейник в ящик, а затем плотно заколотить его крышкой. Работа интересная. Боевая. Муравьи обязательно перейдут в контрнаступление. Операцию следовало произвести: раз-два — и муравейник в ящике.

— Пожалуйста! Мы муравьёв не боимся, — сказал Костя.

— Очень хорошо, — послышался скрипучий голос. — Начали.

Тут незнакомец велел ребятам держать наготове крышку. Затем он взял вилы и проворно перекидал муравейник в ящик.

— Закрывайте! — крикнул он. — Плотнее!

Появились молоток и гвозди. Крышка была молниеносно прибита. Она пришлась так плотно,

что не осталось и щели для пленников.

— Теперь оттаскивайте ящик в сторону!

Ребята, увлечённые неожиданной работой, сделали это с удовольствием. Забыв о малине, они радовались успеху. Когда ящик был отнесён, пришлось отряхиваться, даже снимать одежду и выгонять из неё муравьёв.

— Спасибо, молодые люди! — поблагодарил незнакомец. — Мне бы не справиться одному с этим войском.

Ящик был поставлен на тачку, и встреченный сказал:

— Нам, кажется, по пути… Я в ту же сторону.

Владик вызвался катить тачку. Это произвело очень хорошее впечатление на пожилого незнакомца. Его глаза, как заметил Костя, подобрели. Теперь удобно было спросить незнакомца о малине. И Костя спросил его:

— Скажите, пожалуйста, можно ли рвать малину, если она растёт у чужого забора? По другую сторону?

Незнакомец насторожился, но этого никто из ребят не заметил. Потом он спросил:

— Не о потаповской ли малине вы спрашиваете меня?

— Да, — сказал Костя, — о ней. Вы, значит, тоже

знаете про эту беглую малину?

— Как же мне не знать, — ответил старик, — коли я гощу у Михаила Максимовича.

— Тем лучше, — слегка заикаясь, сказал Костя. — Значит, уж вы-то можете решить вопрос.

Прошла минута или больше. Старик не отвечал. Наконец он сказал:

— А как вы думаете, можно ли обрывать яблоки, растущие в чужом саду?

— Нет! — твёрдо сказал Костя.

— Ни в коем случае, — подтвердил Владик. — Это хищение.

— Но если ветви яблонь свисают по ту сторону забора, тогда как? — задал старик новый вопрос.

— Всё равно нельзя. Яблони-то растут за забором. А малина — это другое дело. Она же беглая…

Старик опять умолк, а потом снова заговорил:

— Ну, а если ты поймаешь беглую собаку или беглого поросенка…

Костя задумался. Задумались и ребята. Каждому стало ясно, что малина хотя и беглая, а всё равно потаповская.

— Спасибо, — сказал Владик старику, — вы разъяснили нам. Пусть наши гости без малины останутся. Или мы других ягод наберём.

Старик еле заметно улыбнулся:

— Ну нет, зачем же без малины! Коли вы такие рассудительные мальчики, то как вам можно возвращаться без малины. Я разрешаю вам собрать ее.

— Но вы же гость, а не хозяин…

— Это не имеет значения. Рвите… Рвите, рвите, — повторил незнакомец, когда ребята оказались подле густых зарослей беглой малины.

Сказав так, незнакомец сам завез тачку в потаповский двор, потом появился снова в воротах и сказал:

— Спасибо за доставку муравьёв.

Начался сбор малины. Вскоре не хватило корзин, которые взяли ребята. А ягод оставалось ещё очень много. Но собрано было вполне достаточно, и Владик сказал:

— Хватит. Стыдно быть жадными! Другим нужно оставить.

— Это верно, — похвалил старик. — Нужно оставить другим. Хватит.

И детям показалось, что неизвестный пожалел малины. Но ребята ошиблись.

— Малины хватит, — снова заговорил он, — а что касается смородины, крыжовника, ранних яблок, то я бы набрал их, на вашем месте…

Сказав так, старик гостеприимно распахнул

ворота.

— А что скажет Потапов? — послышался осторожный вопрос.

— Ничего не скажет. Он больше здесь не живёт. Здесь живёт другой человек. Совсем другой… Проходите!

И ребята прошли в чудесный потаповский сад. Часа через два они покинули его, нагруженные коробками с яблоками, плетёнками с крыжовником, смородиной, поздней сочной вишней. Они ушли, чтобы завтра же вернуться сюда, потому что их будут ждать не только ежи, белки, павлины, но и старик, с которым что-то произошло в это утро, а что именно, едва ли сумел бы объяснить и он сам…

Его жизнь приобрела новый чудесный смысл, и все в посёлке в один голос заговорили о помолодевшем Михаиле Максимовиче Потапове, о его шумном саде и счастье, которое нашлось так неожиданно и так просто. А беглая малина растёт и растёт подле забора. Ей что… Разве она может знать, что случилось после того, как она убежала от Потапова.

Чижик-Пыжик

Осенью Маврик упросил бабушку купить ему чижика, и бабушка купила.

— Вот тебе твой Чижик-Пыжик, — сказала она и поставила на стол большую деревянную клетку. — Заботься о нём. Не забывай кормить и поить. А придёт весна — выпустишь.

Обрадовался Маврик: теперь Чижику-Пыжику не придётся мерзнуть на ветру и летать до устали с места на место, чтобы раздобыть корм.

Каждую неделю Маврик чистил клетку. Он исправно менял воду в поилке и вдоволь насыпал в кормушку зёрен.

Чижик прожил в тепле и холе всю долгую зиму. А когда пришла весна, наступило время выпускать лесного жителя. И повёз Маврик клетку с Чижиком-Пыжиком через весь город на автобусе. А потом до леса пешком. Облюбовал в лесу пенёк, поставил на него клетку и открыл дверцу. А сам отошёл в сторону:

— Лети, Чижик-Пыжик, лети на волю!

Чижик прыгнул на порожек дверцы, отряхнулся и… обратно в клетку.

— Ну что ж ты не летишь, глупый?

И тут Чижик словно понял, что от него хотят, взмахнул крылышками и выпорхнул из клетки. Взлетел на таловый кустик, оттуда на маленькую берёзку. Огляделся кругом и принялся клювом чистить перышки. А потом услышал чижиный зов и порх-порх — с ветки на ветку, с дерева на дерево — добрался до берёзовой чащи.

Вскоре Чижик-Пыжик проголодался. Принялся он искать знакомую кормушку. До самых потёмок проискал, да где её найдёшь в лесу.

Наступила ночь, и, хоть была она не очень холодная, Чижик всё равно продрог. Он весь нахохлился, его взъерошенные перья походили на шубу. Но ничего не помогало. Голодный, дрожащий от холода, он с трудом дождался утра.

А утром увидел, как птицы добывают еду, и вспомнил забытое. Он тоже отправился искать себе корм, но крылья плохо слушались его.

Что-то случилось с его сильными, лёгкими крыльями. Раньше он летал и далеко и высоко. А теперь едва-едва мог перелетать с дерева на дерево. Отвык за зиму.

Плохо стало Чижику, страшно. Ни корма добыть, ни от хищника спастись. А тут ещё собралась чижиная стая улетать к родным гнездовьям. Отправился с ней и Чижик-Пыжик, но скоро

устал, оторвался от стаи и в изнеможении упал в траву. Этого только и ждала хитрая лиса…

Тем временем наступило лето. Маврик думал, что Чижик-Пыжик давно уже обзавёлся гнездом и птенцами, но всё-таки надеялся, что его любимец вернётся к нему зимовать. И ждал, когда же тот постучится в окно своим маленьким клювом.

Но прошла осень, и пришла зима. А Чижик-Пыжик не прилетал. Видно, не нашёл дома, где когда-то жил у мальчика и где ждала его вкусная еда.

Так думал Маврик. Ему и в голову не приходило, что Чижика-Пыжика давно уже нет.

Откуда было знать Маврику, что лесные птицы — чижи, синицы, щеглы, — пожив в клетке даже немного, гибнут потом, очутившись на воле?

Тополя

От станции до совхозного посёлка Малиновка не более километра. Мой багаж состоял из заплечного мешка и походной сумки. Меня должен был встретить главный агроном совхоза, но, видимо, он проспал. И немудрено — поезд пришёл в четыре часа утра. Мне указали дорогу, и я направился в Малиновку.

Дорога была на редкость прямой. Буквально как струна. По обе стороны дороги росли довольно большие тополя. Они так украшали её, что слово «аллея» мне показалось более точным для этого зелёного коридора.

Я не прошёл и ста шагов, как увидел бегущего навстречу мне человека.

«Наверно, это и есть проспавший Николай Иванович Чумаков?» — подумал я.

Так и оказалось.

Мы познакомились «очно», до этого мы были знакомы только телефонно. По телефону Чумаков зазвал меня в Малиновку, чтобы посмотреть новейший сорт гороха.

Главный агроном ещё раз представился мне, и мы пошли вместе. Ему не терпелось, и он сразу же начал рассказывать о достоинствах своего гороха. Заметив, однако, что я любуюсь стройными тополями, Чумаков сказал:

— Все почему-то на них обращают внимание.

— На них нельзя не обратить внимание. Они все как один. И такие стройные. Неужели вы не замечаете этой красоты? — спросил я.

— Да нет, замечаю. Только я как-то стесняюсь обращать внимание на эту красоту.

— Почему?

— Нескромно.

Я не понял ответа и переспросил:

— Почему же нескромно?

— Лучше не спрашивайте. Я уже побывал в хвастунах за эти тополя. Рассказывал как-то одному приезжему, а он не поверил. Не поверил и сказал мне, что будто бы я люблю набивать себе цену. Я цены никакой не набивал. Я сказал то, что было…

— Что же было-то?

— Увольте. Честное слово, увольте. Я боюсь, что упадёт от этих тополей нехорошая тень на наш хороший горох.

— Нет уж, не уволю, — сказал я, чувствуя, что с тополями связано что-то интересное. — Коли начали, Николай Иванович, так рассказывайте!

Мой новый знакомый густо покраснел, потом предупредил:

— Тогда я не чистую правду расскажу. Потому что правда не очень правдоподобно выглядит. И мне даже самому теперь не верится, что было это именно так. Слушайте.

И он принялся рассказывать.

* * *

— В нашей Малиновке, которая тогда ещё была деревней, а не совхозным посёлком, жил мальчик. Не я. Этот мальчик очень тянулся к растениям и с малых лет так любил их, что его родители начали побаиваться, как бы их сыночек не свихнулся на этом. Посудите сами, если у него в двенадцать лет не только свои парники, но и теплица собственной конструкции. И как-то этот самый мальчик, который уже очень много знал о растениях, удивился самому простому — живучести тополей. Надо сказать, что и теперь, спустя много лет, этот мальчик, получив высшее агрономическое образование, не перестаёт удивляться чуду тополиного черенка.

А в те годы он даже не поверил, что из черенка длиной немногим больше карандаша может вырасти дерево. Но журнал, в котором он прочитал статью о тополях, утверждал именно это. Там говорилось, что по весне обычно стригут старые тополя и выбрасывают их ветви. А между тем из каждой ветки можно нарезать не один десяток черенков. Так и сказано было в журнале.

Раздобыв тополиных веток, мальчик нарезал

из них черенков и посадил их в землю. Одни полил, а другие для проверки оставил без воды.

Прошла неделя, лопнула верхняя почка и дала листки. А потом из листиков стала расти веточка. Хлыстик такой. И можете себе представить, уже к осени эта веточка переросла парнишку чуть не в полтора раза. Почти деревце. Но деревце без ветвей. Теперь ему нужно было дать ветви. Это проще всего.

Каждый хлыст или ствол будущего тополя мальчик обрезал. Оборвал с хлыста лишние листочки и оставил их по пять-шесть, чтобы из них выросли ветки, а верхушку укоротил. Весной на месте каждого оставленного листочка или, вернее, почки появились веточки. Начала образовываться крона. Точно, как было написано в журнале. И это, верите или нет, было интереснее самой интересной сказки…

И мальчик стал думать: а что, если посадить черенки тополя от станции до Малиновки? Вот тут. По обе стороны дороги. У мальчика была очень горячая голова. Но всё же он никогда не задумывал ничего такого, что было ему не под силу. И он стал считать. От станции до Малиновки тысяча сто метров. Тысяча сто… И если через каждые два метра посадить по черенку, то потребуется всего

лишь пятьсот пятьдесят черенков. Это по одну сторону. И столько же по другую. Тысяча сто. А если через три метра, то и того меньше.

А что такое тысяча сто черенков? Тысячу сто черенков вдвоем можно заготовить не спеша за два-три дня.

А что такое посадить тысячу сто черенков? Много? Очень много. Но так ли уж много, если принять во внимание капустную рассаду… А черенки сажаются ещё проще. Да, да… Они сажаются совсем просто.

Прошу минуту внимания. У вас в руках небольшой лом. Можно и кол. Вы протыкаете в земле отверстие. Затем суете черенок. Затем ногой уплотняете влажную землю. И всё. Понимаете, всё. Это раз и два. И ещё раз-два-три…

Когда Николаша всё это спланировал, и его товарищ, которого звали Гришкой, а теперь Григорием Матвеевичем, я вам его покажу, для точности… так вот, когда его товарищ, которого звали Гришкой, тоже поверил в реальность этого предприятия на тысячу сто тополей, они поклялись тайно обсадить дорогу в Малиновку. Тайно — не потому, что это были чересчур скромные мальчики. Я этого не скажу. Они были вполне обыкновенные ребята. И тому и другому было

боязно, что вдруг да ничего не получится. Вытопчут черенки. Или посохнут. Хотя этого ожидать было нельзя. Короче говоря, принялись за дело. И опять же по плану.

На станции ежегодно ранней весной обрезают тополя. Ветки кладут в кучи и потом сжигают. Сгорают тысячи будущих деревьев. Этими-то ветками и воспользовались ребята.

Сначала наготовили черенков. Не по карандашу, а подлиннее. Чтобы с гарантией. И не тысячу сто штук, а больше. Почти две тысячи. И в погреб. Для профилактики от высыхания. А потом до школы и до солнышка бежали на дорогу. Со шнуром. С рулеткой. Чтобы не как попало, а по черте. И так дней пять. Утром часа три и, как темнеть начнёт, тоже часа два. Чтобы меньше глаз видело. А потом для перестраховки ещё штук триста понатыкали. Мало ли? Выпад? Неудачный черенок? Или даже корова копытом наступила, и конец черенку… Извините, очень долго рассказываю… Но теперь уже не больше двух минут попрошу вашего внимания…

Высадили, так сказать, попотели, а усталости никакой. Потому что, когда горит человек в труде, какое же может быть уставание! Надеждой жили. И надежда не обманула. Вот она как сказалась.

Можете верить, можете нет. Пятьсот пятьдесят по эту сторону, и пятьсот пятьдесят по ту. Подсаживали, конечно. Берегли. А потом, когда тополя вошли в полную силу, без надзора, без нянек стали расти…

* * *

Закончив рассказ, Николай Иванович вздохнул, затем оглянулся на две ровные линии тополей и задумался, улыбаясь деревьям.

И я остановился в конце дороги, тоже любуясь уходящими к станции тополями, думал, как много заключено в детских настойчивых руках…

Солнечный подарок

Ехали мы по чернозёмной воронежской земле. За окном зеленели всходы. Глядя на них, один из пассажиров, по всей вероятности имеющий отношение к агрономической науке, равно как и к изящной словесности, предложил нам:

— Не угодно ли вам познакомиться с историей, которую вы, может быть, не знаете…

Когда-то, не в столь давние времена, из Америки вывезли прелестный золотистый цветок.

Заморский красавец был очень высок, поэтому его сажали в центр клумб, и он главенствовал над остальными цветами барских садов.

Крупные нарядные листья цветка были сами по себе украшением, а его большая круглая голова с венцом из ярко-желтых лепестков обращала на себя внимание всякого. Таким некогда рисовали солнце.

Облик большого цветка с солнцем связывался тем более, что у этого светолюбивого растения было удивительное свойство поворачиваться лицом к светилу. По цветку при желании можно было определить время дня.

Вскоре вертоголовый весельчак из помещичьих садов проник в деревенские палисадники. И там полюбили его ещё более. Да и как могло быть иначе, когда он так украшал убогие селения. Наверное, и до сих пор он бы рос нарядным бездельником, баловнем солнца и обожателей цветов, но…

Но в одной из воронежских слобод, а именно в Алексеевке, дотошный крепостной по фамилии Бокарев, любуясь венценосным любимцем односельчан, задумался о смысле жизни и пользе пребывания на земле этого рослого переселенца.

Вдумчивый и практически мыслящий крестья-

нин принадлежал к тем, кто был убеждён, что всё произрастающее в мире должно приносить пользу. И коли даже крапива, становясь волокном, потом превращается в ткань, а кора липы — в лапти, мочальные и лубяные изделия, а лоза ивняка — в корзины, то должен ли этот рыжий гренадёр расти только для улыбок молодаек да для вздохов старух на такой плодородной земле?

Рассуждая так, Бокарев занялся жителем своего палисадника. Он разглядывал корень, испытывал стебель, вялил и сушил листья, пробовал курить лепестки… И никакой удачи. Так настойчивый искатель дошёл до головы жёлтого скрытника. Может быть, там прячется польза. И он не ошибся.

Выварив, поджарив и растирая мягкие зёрна слободского новосёла, Бокарев обнаружил маслянистые выделения.

— Эге! — крикнул он жене. — Вари кашу, супружница. Я, никак, новое масло выискал. Глянь, как золотеют его капельки.

Радости не было края. И было чему радоваться…

Ярко зацвела слава большого садового цветка в чернозёмных широких степях. Зажил вертоголовый баловень настоящей, уважаемой жизнью.

Жизнью полезного масличного растения, получившего хорошее имя — подсолнечник. И нет теперь страны в мире, где бы не было на славе его золотистое масло.

Одуванчики

Теперь города растут скорее парков. Чтобы появился новый парк, нужно никак не менее десяти-пятнадцати лет. Быстрорастущий тополь и тот становится деревцем лет через семь, ну а липа, клён и того больше. Это для присказки. Сказка впереди.

Сказочно скоро вырос новый город нефтяников. Была равнина да перелески. Нашли нефть. Появились вышки. Одна, другая, третья. Десятки вышек. Образовался промысел. Началось строительство города.

Пока рос город, молодые новосёлы, жившие в бараках и землянках, в полевых вагончиках, позаботились о парке. Нелёгкое дело разбивать цветники на целинной земле, подымать дерновину и разбивать комья. Но что не сделают проворные руки! Не сразу, но сдалась земля, дикие растения уступили место садовым цветам. Правда, сорняки ещё долго сопротивлялись, ста-

раясь прорасти на разрыхлённой, удобренной земле. С ними не церемонились. Вырывали, подрубали тяпками, выдёргивали, чтобы не дать им осеменяться.

Особенно хорошо боролись с сорняками сестра и брат Котельниковы — Лиза и Вася. Редкое утро они не обходили дозором цветники будущего парка. И чуть высунется сорняк — его за ушко и на солнышко. Сохни.

Лизу и Васю назначили старшими команд по борьбе с сорняками. Посоветовал создать такие старый садовод — Николай Петрович Решетников.

Сестра и брат Котельниковы стали работать ещё настойчивее. И дело у них шло хорошо. Боролись, не щадя сил. Но однажды на клумбах появились знакомые с детства желтоголовые одуванчики.

— Здравствуйте! Откуда вы здесь? — спросила обрадованно Лиза у одуванчиков.

Совсем по-иному отнесся к появлению одуванчиков Вася.

— В наступление! — скомандовал он ребятам. — Руби под корень. За мной!

И бригада цепью повела наступление. Зоркие глаза не пропускали проросших там и сям оду-

ванчиков. Тяпки, как боевые секиры, мелькали в воздухе.

— Бей! Руби! — слышались голоса наступающих.

Лиза недоумевала.

— Как могут быть врагами, — спрашивала она подруг, — эти прелестные цветы?

— И в самом деле, — соглашались с Лизой девочки, — почему мальчишки с таким озлоблением истребляют одуванчики?

— Почему бы не цвести и этим диким цветам рядом с садовыми? — не унималась Лиза.

— Да, да, — поддерживали её по-други

Начался спор. Одни называли одуванчики злейшим врагом садовых цветов.

Другие, не соглашаясь, требовали оставить хотя бы небольшую часть желтоголовых красавцев. Для украшения клумб. Для оживления. Лизина бригада решила сохранить на одной из клумб солнечные цветочки.

Вася не стал спорить. Пусть растут. Нужно же считаться с другими. Особенно со старшей сестрой. В конце концов, одуванчики тоже цветы. К тому же ранние. Правда, их нельзя сравнивать с теми же ромашками или с другими полевыми цветами, которым находилось место в новом

парке. Конечно, одуванчик сорняк, но и васильки сорняки, а их любят и даже о них поют в песнях.

Оставленные одуванчики благодарно кивали на ветру головками. Они, кажется, даже улыбались сердобольным борцам с сорняками.

Пришла осень. На большом и весёлом слёте юных садоводов благодарили отличившихся. Главный садовод сказал:

— Мы не только заложили парк, но и сумели оградить его в самый трудный первый год от сорных растений.

И тут были названы имена всех, кто неустанно боролся с сорняками и одержал победу. Не забыли сестру и брата Котельниковых. И они были счастливы.

А потом пришла зима. Чуть ли не каждый день справлялись новоселья в достроенных домах. Они не на словах, а на деле росли быстрее деревьев. Голубые ёлочки, посаженные в парке, за лето дали прирост в «один этаж», а этаж дома вырастал иногда за несколько дней. В мае ещё не было и фундамента школы, а в сентябре начался первый учебный год молодого города нефтяников.

Зимние месяцы всегда самые длинные. Но проходят и они. Солнце гонит снег, скворцы кличут весну, жаворонки славят пробуждение земли.

Деревья и кустарники парка перезимовали очень хорошо, за исключением тех, что были посажены слишком торопливыми руками.

Сорняков было мало. Да и откуда им быть, когда всё лето ребята, не давая созреть семенам сорных трав, так настойчиво выпалывали их. Однако же радость вскоре сменилась негодованием. Одуванчики жестоко посмеялись над великодушными сердцами.

Ребята не верили своим глазам. Одуванчики нагло вылезали всюду. Вылезали воинственно, настойчиво, хвастливо. Если бы они проросли только на клумбах между посаженных многолетних цветов: тюльпанов, нарциссов, пионов, роз, лилий… Нет, они росли в самой сердцевине флоксов или в такой близости с корнями садовых цветов, что трудно было вытащить цепкие корни нахального сорняка, не повредив дорогих цветов.

— Это твоя жалость, Лиза, — сказал Вася, указывая на одуванчики. — И моя, — сознался он.

Ребята молчали. Да и о чём было говорить? Каждый из них знал, сколько семян даёт цветок одуванчика, превращаясь в белую пушистую головку. А сколько их было, этих пушистых головок с летучими семенами… Тысячи. Десятки

тысяч семян. И если бы эти семена разлетелись просто в поле, то многие бы из них погибли. А тут на рыхлой, садовой, удобренной земле редкое семечко не дало цепкого ростка.

Садоводу пришлось рассказать, как это случилось. И он сказал:

— Конечно, это большая неприятность. Много трудов потребует теперь борьба с живучим сорняком. Но ведь, — сказал он, раздумывая, — эта беда шла не от злого сердца, а от доброго.

Это не утешало ребят. И не работа огорчала их, а обида. Обида на самих себя, на неблагодарный, нахальный сорняк, на свою уступчивость, на что-то ещё и ещё более серьёзное, не имеющее отношения к одуванчикам и к молодому парку и вообще к растениям. Об этом же, кажется, думал и седой садовод Николай Петрович Решетников. Думал и тоже молчал. Молчал и потому, что не всё нужно растолковывать, разжёвывать и класть в рот. Ребята и без его наставлений запомнят бесстыдство одуванчиков, которые появляются не только на цветочных клумбах…

Раки

Речка Берёзовка хоть и маленькая, да рыбная.

А вот раков в Берёзовке не было. Перевелись, да и всё.

— В старые годы, когда мы мальчишками были, по сотне, по две раков из Берёзовки добывали, — рассказывал Ванин дедушка.

И Тишина бабушка говорила то же самое. А в соседней речке Вертушинке раки не переводились. Только ходить туда было далеко. Через лес да ещё через болото.

Как-то Тиша сказал Ване:

— Давай, Ванёк, наловим по корзинке вертушинских раков да и выпустим их в нашу Берёзовку.

— А зачем? — спросил Ваня.

— Чтобы они опять развелись.

— Да пока они разведутся, их ребята всех до одного повыловят.

Не стал спорить Тиша, хоть и знал, что нельзя всех раков выловить. Пусть сотня, да останется. А эта сотня столько икры вымечет, что раков потом и не сосчитаешь.

На этом и кончился разговор.

Прошёл год… Ваня и Тиша уже в третий класс перешли. И, как раньше, в свободное время удили рыбу.

Как-то закинул Ваня крючок на ерша, а поймал

озорного рачонка.

— Тиша! — закричал Ваня. — У нас в речке раки сами собой развелись!

Тиша увидел молоденького рачонка и больше Вани обрадовался. Значит, не зря он прошлым летом на Вертушинку ходил. Один. Через лес да ещё через болото.

Хромая курица

У Таниной тётки была хромая курица. Квохча.

— Непутёвая курица, — говорит про неё тётка, — хромает только да квохчет. На насест даже взлететь не может. В горшок её, да и дело всё.

А Танечка очень любила чужую хромую курицу. Подкармливала её. Гладила. Изо всех сил бежала Квохча, как только Таню увидит. А та ей то зерна принесет, то гусениц.

Заметила это тётка и сказала:

— Хочешь, Танюшка, я тебе хромую обжору подарю?

Танечка чуть не до неба подпрыгнула:

— Хочу, тётя Маруся.

Принесла Таня домой курицу. А Квохча будто и не рада.

День проходит, два — квохчет, словно охает,

жалостно так озирается, места не находит. Загрустила Танечка, а бабушка говорит:

— Плохо тому, кто добра не делает никому. В гнездо ей надо садиться. Цыпляток выводить.

Добыла бабушка на ферме отборных яиц и посадила на них в хорошее гнездо Квохчу.

Сидит Квохча тихо в своем гнезде. Не квохчет. Танечка ей питьё и еду приносит да дни считает.

Двадцать четыре дня прошло, пока из хороших куриных яиц цыплята не проклюнулись.

Матерью стала Квохча. Не узнать её. Жалкая пугливая хромоножка ходит по двору как царица важная, неприступная, цыплят за собой водит. Глаз с них не сводит, от ястреба охраняет, к ненастью под крыло скликает. Никого, кроме Танечки, не подпускает и близко. Даже щенка так клюнула, что тот под крыльцо забрался. И кудахчет иначе. «Куд-куда, цыплята, сюда», — кажется бабушке, а Танечка смеётся:

— Нет, бабушка, все двенадцать цыплят тут. Просто радуется наша Квохча. Слышишь: «Кудах-тах-тах. Давно бы так!»

Про дикую яблоньку

Подарила бабушка своему внуку Антоше нож-

складешок. Острый-преострый, с кленовым черенком. Не нарадуется внучонок на свой складешок. Только не знает, что бы такое своей обновкой сделать. Пошёл в лес. Видит дикую яблоньку. «Дай-ка, — думает, — я из неё батожок вырежу».

Нахмурился лес. Зашумел:

— Ты что, баловник, делаешь? Зачем мою внучку губишь?

А мальчонка-то не из трусливых был. Уткнул руки в боки да и крикнул на лес:

— Не шуми! Не больно боюсь! — и стал дикую яблоньку подрезать.

Лес пуще прежнего зашумел:

— Не гневи меня. Плохо тебе будет, коли я разгневаюсь…

— Да что ты мне можешь сделать! Кто ты мне? Поишь или кормишь? Что от тебя пользы-то? — возмутился так-то Антоша да и принялся из срезанной яблоньки батожок мастерить.

Умолк лес. Потемнел. Дождь накрапывать начал. Молния сверкнула. Птички пискнули и в гнёзда попрятались.

Схватил паренёк батожок, сунул за пазуху складешок и — домой к бабушке. На бегу обернулся да лесу язык показал.

Лес на это последний раз прошумел:

— Каков ты со мной, таков и я с тобой буду.

Услыхал это батожок, вырвался из Антошиных рук да стукнул его по затылку. Антоша оглянуться не успел, а батожок уже в лес убегает.

— Очень ты мне нужен, — запустил Антон камнем вдогонку батожку, и ходу. Хотел до грозы домой поспеть. До деревни-то уж совсем пустяк оставался — через горбатый мост, и дома. Кинулся Антоша к мосту, да не тут-то было. Мост до того круто сгорбился — не перейти, не перелезть.

— Ты что это, горбун, выдумал? Почему не пропускаешь меня? — спрашивает Антоша. — Разгорбись. Мне по тебе пройти надо.

А мост ему в ответ:

— Тебе надо, а мне нет. Я ведь деревянный. В лесу вырос, из леса пришёл, леса и слушаюсь.

Антоша — к лодке. А та возьми да перевернись.

— Это ещё что за новости?

— Аль не знаешь, — отвечает, — что лодки в лесу растут. Из дерева долбятся. Плыви-ка плывмя, парень. Тут брода нет.

Дождь к той поре как из ведра полил. Что тут поделаешь? Так и так мокрому быть. Переплыл Антоша речку. Продрог. По весне дело-то было.

Припустил домой, только пятки сверкают. Ткнул с разбега калитку, а калитка как стена каменная. Не открывается.

— У меня зуб на зуб не сходится, а ты ещё супротивничаешь, — И ну калитку руками, ногами бить.

А та ему:

— Бей, бей, хоть лоб разбей, всё равно не откроюсь. Деревянная я. Лезь-ка лучше, парень, свиным ходом, собачьим лазом…

Делать нечего. Полез Антоша свиным ходом, собачьим лазом. Чучело чучелом вылез из-под ворот.

Увидела бабушка Антошу мокрого, да грязного, да прозябшего, руками всплеснула:

— Ахти мне! Где же это ты?

А у Антоши вовсе зуб на зуб не сходится. Дрожит, слова вымолвить не может. Видит бабушка, что не до расспросов теперь. Баню надо топить — внука парить. Истопила бабушка баню. Посадила Антошу на полок. Хорошо мальчонке в тепле.

— Дай-ка, бабушка, веник берёзовый. Попариться хочу.

Веник сам собой прибежал. Прибежал да тут же на глазах листья шелковые березовые сбросил и давай Антошу голыми ветками напаривать. Еле

отбила старушка внука от веника.

— Что это с ним приключилось сегодня, Антошенька? Был веник как веник, а тут на тебе… Принесу-ка мочалку помягче, ей с себя грязь-болезнь смоешь.

Подала бабушка самую лучшую мочалку. Мягкую, пушистую, душистую. «Ну, ты-то не в лесу выросла», — думает Антоша.

— Потрись, узнаешь, на какой я липе лыком была, — сказала так и обернулась терновником.

Бросил её Антоша, а мочалка не унимается, наскакивает. Еле выбрался Антоша из бани, да не хочет упрямец лесу поддаваться. Вот и решил: «Не буду ходить по мосту, ездить в лодке, открывать калитку».

А в избе-то и вовсе Антоше деться некуда. Посидеть захотел — скамейка возьми да и подогни ноги. Стол качается. Деревянная чашка со щами в руки не даётся. Точеная ложка стукнула по лбу и ускакала на посудную полку. Пол занозами пятки колет. Залез Антоша на печку. Та, известно, из кирпича сложена. Не в лесу росла. Забился в угол, едва не плачет.

— Не разгневал ли ты синий лес? — спросила печка.

— А ты откуда знаешь, кирпичное отродье? —

огрызнулся Антон.

— Оттуда и знаю, грубиян, что холодеть начала. Я хоть и не в лесу выросла, а лесом тепла. С лесом дружусь, дровами топлюсь.

Начал Антоша понимать, как плохо человеку в разладе с лесом быть, сколько пользы лес людям даёт. И чем больше вспоминал, что растёт в лесу, что из лесу пришло, тем горше ему становилось. Признался внук бабушке, чем лес прогневил. Как признавался, печка теплеть начала. Не очень чтоб уж, но сидеть можно стало на ней.

Запечалилась бабушка. Покормила Антошу холодными щами из глиняной чашки, как щенка. Ложки-то в те годы только деревянные были.

— Ложись, Антоша, спать. Утро вечера мудренее.

Страшные сны в ту ночь снились Антоше. Трёхногая лохань всё плясала подле него да грозилась вылиться. Половицы скрипели не по-хорошему. Бревенчатые стены такие рожи корчили, хоть просыпайся да из избы беги.

Проснулся Антоша раньше бабушки. Бабушка спокойно спала на деревянной кровати с точёными ножками да резными шишечками. Хорошо ей, когда она с лесом в дружбе. Встанет, окошко откроет. Деревянная рама и не скрипнет даже. Вз-

думает — на скамеечке посидит. Захочет — кашу ложкой есть будет или по полу станет ходить и ног не занозит. А каково Антоше! Он даже с печки боится спуститься.

Сидит Антоша на печке пригорюнясь да про ножичек вспомнил, полюбоваться захотелось. Уж очень у него черешок хорош. Кленовый.

Глядь — черешок-то пропал.

— Вставай, вставай, бабушка. Не жить мне, если лес меня не простит. Придумала ли что? Утро уже.

— Вот тебе на! Неужто я для своего внучонка не придумаю, как выручить его из беды. Придумала. Простит тебя лес, только не словами, а делом заслужи прощенье.

Сказала так-то бабушка и повела Антошу в огород. Двери ничего — открылись, пропустили Антошу с бабушкой-то. А в огороде нездешняя яблоня росла. Антошин дед теплый край нашей земли от врагов оберегать с войском ходил. Из похода и привёз эту яблоньку. Саженцем. Совсем крошкой. Выросла красавица яблоня всем на загляденье. Только яблоки на ней редкий год случались. То мороз прибьёт, то утренник хватит. Прихотливое дерево. Известно, из тёплых мест. Зато уж когда родятся яблоки — на возу не уве-

зешь. И сладкие-то, и мягкие, и всю зиму лежат, хоть бы что.

Подвела бабушка Антошу к заморской яблоне и говорит:

— Привей-ка ты её росточек на дикий пенёчек да погляди, что будет.

Взяла Антошин ножик без ручки и показала, как надрез делать, как росток на него прививать, да воском залеплять, да мочалкой обвязывать.

Два дня учила бабушка Антошу. А на третий день нарезал Антоша черенков-ростков с нездешней яблони и отправился в лес.

Известно, речка на пути. Не весело в студёную воду лезть.

— Зачем же вплавь переплывать, коли лодка есть, — пропищала валявшаяся на берегу щепка.

Антоша к лодке:

— Перевези меня, пожалуйста, я иду прощенья у леса просить.

— Зачем на мне плыть. Легче по мосту перейти.

Мост только скрипнул, но не сгорбился и пропустил Антошу.

Лес не шумел, не хмурился. Будто и не узнал. И Антоша молчит, а сам пенёк от сгубленной им яблоньки высматривает. Вдруг слышит, кто-то

тихо-жалостно плачет в лесу. Пошёл на плач. Видит — незнакомая яблонька.

— О чём плачешь, милая яблонька?

— Погляди, что зайцы со мной сделали. Всю кору обгрызли. Пропасть мне теперь без коры. Кто меня от стужи, от зноя сохранит? — говорит, а сок из неё, бедняги, как слёзы течёт.

— Не печалься. Я твоему горю помогу. У меня и воск, и мочало есть. Сейчас перевязку сделаю.

Тут Антоша рану воском залепил. С опаской мочалку взял, что бабушка за пояс заткнула. А вдруг мочалка терновником обернётся? Нет, не обернулась. А будто даже шелковистее стала, так к стволу и льнёт. Подвязал Антоша деревце: расти большая да красивая.

Яблонька ему вслед ветками машет. Благодарит.

Идёт Антоша дальше, слышит, что-то за пазухой у него шевелится. Вынул складешок, а черенок лучше прежнего. Обрадовался Антоша: «Видно, лес меня прощать начинает. Эх, найти бы мне тот пенёчек да оживить, может, и вовсе простил бы меня лес».

Глядь — навстречу ему драчун-батожок вышагивает:

— Иди за мной. Так и быть, покажу, где я вчера

дикой яблонькой рос.

Побежал Антоша за батожком. Вот и пенёк. Подрезал его как надо, наискось, ровнехонько. Срез воском залепил, как бабушка учила, и начал росток прививать. Бережно, ласково. Обвязал мочалкой и думает: «А вдруг не привьётся».

Очень хотелось Антоше, чтоб сгубленная яблонька внове зажила. А желание человека большую силу имеет. На свете, пожалуй, ничего сильнее желания нет.

Желанье, конечно, желаньем, а корни корнями. У той дикой яблоньки корни сильные были. Далеко от пенёчка разветвились. Много соку из земли тянули. А сок-то теперь некуда деть. Много ли пеньку надо, коли ствола у дерева нет. А тут росточек на пеньке объявился. Корни-то и начали его поить-кормить. Да так, что он на Антошиных глазах зазеленел. Антоша даже в пляс пустился от радости.

Тихо-ласково зашелестел лес. Понял старик, что не от большого ума Антоша яблоньку погубил. Руки чесались — работы требовали. Да и нож-складешок бабушка подарила, а научить не научила, что ножом делать можно. Не научила, да в лес пустила. Знай бы Антоша, как мне, могучему лесу дремучему, без добрых людей

несладко, не обижал бы старика… Ну да, где гнев, там и милость…

Подслушал батожок лесные думы и скок к Антоше в руку:

— Служить тебе буду.

К одной яблоньке приведёт, другую укажет. Привил Антоша росточки:

— Пойдем, батожок, домой.

Вывел батожок Антошу из лесу ближним путем к мосту. А лодка, не будь плоха, да выплыви на берег:

— Садись, Антон Иванович! Для такого человека я не то что посуху плавать, по небу летать буду.

Сел Антоша в лодку, а она — порх, и через миг перед калиткой встала. Калитка сама собой открылась:

— Антон Иванович, милости просим. Каша стынет. По вам плачет.

Стол со скамейкой услышали, с кем калитка говорит, да со всех ног навстречу:

— Кушайте, пожалуйста, Антон Иванович.

А ложка прискакала и сама кашу зачерпывает.

— Нет, не надо так, ложка, — говорит Антоша, — я ведь не лентяй, сам тобой есть буду.

Глядит бабушка на внука, не нарадуется.

— Простил, видно, нас с тобой лес.

Антоша только смеётся да головой кивает. Зато веник отвечает, наплясывает-подметает:

— Простил, простил да велел дорожку размести.

Промел веник дорожку Антоше в огород. Нарезал Антоша росточков с дедовой яблони и опять в лес…

Много ли, мало ли лет прошло, стали Антошины ростки яблонями. По весне так цвели, что со всей округи на них глядеть бегали. А по осени такие яблоки зрели-наливались, что народ дивиться не поспевал. Золотистые, душистые, вкусные да крупные. А главное, морозу не боятся и утренники им хоть бы что.

— Чудо ведь это, а не яблоки! — говорит народ.

— Какое же чудо, — отвечает им дедушка Антон, Антошей-то который был. — Чуда в том нет, что нездешний росток да здешний пенёк новые яблоки уродили.

Понял ли, нет ли эти слова народ, только все саженцы стали просить. Дед Антон никому не отказывал. Так и пошла расти по всей нашей земле новая яблоня.

Давно умер дед Антон, а имя его в яблоках живёт да в сказке славится. Сказка-то оказалась

тоже не простая, а как бы на манер росточка. Не ножом-складешом, а складным языком речистая козловская старушка крепко эту сказку про антоновские яблоки к ребячьему сердцу привила. Мальчика-то Ваней звали. А как подрос, Иваном Владимировичем стали называть. На весь мир эту сказку по-своему пересказал и такой явью оживил, что не только в городе Козлове о нём услышали, во всех краях его имя да его науку повторять стали. А город Козлов по его фамилии называют теперь — Мичуринск.

СКАЗКИ
Про торопливую куницу и терпеливую синицу

Стала торопливая Куница шёлковый сарафан к лету кроить. Тяп-ляп! Весь шёлк искромсала — изрезала в лоскутки. И не то что сарафан — платка из этих лоскутков нельзя сшить.

Стала терпеливая Синица из холстины фартук кроить. Тут прикинет, там смекнёт, сюда подвинет, туда подвернёт. Всё она сообразила. Всё высчитала, всё вычертила, потом за ножницы взялась. Хороший фартук получился. Ни одного лоскутка не пропало даром.

Диву далась Куница. На фартук глядит — завидует:

— Где ты кройке-шитью училась, Синица? У кого?

— Бабушка меня шитью выучила.

— А как она учила тебя?

— Да очень просто. Пять волшебных слов велела запомнить.

— Каких?

— «Семь раз отмерь — один отрежь».

Ежиха-Форсиха

Приглянулся Ежихе-форсихе выдровый мех. Не налюбуется.

— Давай, Выдра, одёжкой меняться.

— Давай! — говорит Выдра.

Сказано — сделано. Поменялись одёжками. Ходит по лесу Ежиха-форсиха, дорогим выдровым мехом похваляется:

— Вот я какая нарядная! Смотрите.

Учуяли собаки-разбойницы дорогой выдровый мех и кинулись на Ежиху-форсиху:

— Снимай, тётка, выдровую шубу!

А Ежиха и в ус не дует. Забыла, что больше она не колюча. Свернулась по старой ежиной привычке в комочек да и подзадоривает собак: — А ну, попробуйте схватите меня!

А собаки взяли да и схватили.

Поняла Ежиха в собачьих зубах, какого она маху дала, когда свою колючую шкурку-защитницу на выдровый приманочный мех променяла. Поняла, да уж поздно было.

Мать-мачеха

Снесла непутёвая Кукушка три яйца. Одно — в иволгино гнездо, другое — в желнино, третье — в щеглиное. Снесла беззаботная мать и улетела в весёлые леса куковать, годы предсказывать, людям голову морочить, свою душеньку тешить. Летала она так, куковала да и о детях вспомнила, что в чужих гнёздах росли.

— Пора мне их под своё крыло взять, — сказала кукушка. — То-то обрадуются детушки родимой матушке.

Прилетела Кукушка к иволгиному гнезду, а её кукушонок и не взглянул на мать. Иволгу матерью называет. Из её клюва кормится, на её голос откликается.

— Вон ты каков, неблагодарный! Из моего яйца проклюнулся, а меня и узнать не захотел, — сказала в сердцах Кукушка и полетела в желнино гнездо. Увидела там кукушонка и к нему бросилась:

— Здравствуй, сыночек, мой ненаглядный. Узнал ли ты свою мать?

Испугался кукушонок невиданной им птицы, на весь лес пищит, Желну кличет:

— Матушка, лети скорее сюда! Чужая тётка хочет меня из родного гнезда унести.

Прилетела Желна и прогнала прочь Кукушку. Полетела тогда Кукушка к щеглиному гнезду. Глядит — её кукушонок Щеглиху перерос. Она еле-еле кормить его поспевает.

«Ну, — думает, — эта-то отдаст мне моего обжору».

— Бери, — говорит Щеглиха, — своего подкидыша. Я из сил выбилась, уж очень он много ест.

Как услыхал это кукушонок, задрожал, замахал крылышками и жалобно-жалобно стал просить Щеглиху:

— Дорогая моя мамонька, я лучше с голоду умру, только из-под твоего крыла под чужое не пойду.

Разжалобилась Щеглиха. Тоже всплакнула.

— Да никому я тебя, мой сыночек, не отдам. Лучше часок-другой не досплю, а тебя выкормлю.

Кинулась тут Кукушка к судье — судом деток отсуживать. А судьёй в этом лесу Дятел был. Мигом дела разбирал. И кукушкино дело скорёхонько рассудил. По совести, по народной мудрости решение вынес: «Не та мать, которая деток народила, а та, что их вскормила, вспоила да на ноги поставила».

Гусь лапчатый

Прослышал как-то Гусь, что пером из его крыла книги пишутся, государственные бумаги подписываются, возгордился и загоготал:

— Го-го-го! Государственная я птица, а не простая. Коли б не моё крыло да не моё перо, чем бы книги писались, как бы указы-приказы составлялись?

Услыхал эту похвальбу Чернильный орешек, на котором чернила настаивали, тоже хвастаться стал:

— Не простой я орех, а чернильный. Коли б не я да не гусиное перо, чем бы книги стали писать, чем бумаги подписывать?

Глядя на них и Старая тряпка нос задрала:

— Из меня бумагу делают. На мне пишут. Не будь меня, да гусиного пера, да Чернильного орешка — не было бы грамоты на земле.

— Го-го-го! — гогочет Гусь. — Пойдём втроём народ припугнём. Пускай он нам славу поёт, почести воздаёт. А не то мы его перьев лишим, чернил не дадим, бумагу придержим. Незаменимые мы!

Пошли Гусь, Чернильный орех да Старая тряпка почёт добывать, славу требовать. Выслушал

их народ и велел вместо гусиных стальными перьями писать, чернила из чернильного порошка готовить, бумагу из дерева вырабатывать.

На этом и кончилась похвальба Старой тряпки да Чернильного орешка. Тряпкой стали пол мыть, пыль вытирать, а про орешек даже и забыли, где и на чём он растёт.

Притихли Орешек да Тряпка. А Гусь всё ещё не унимается. Гогочет! Крыльями машет, да взлететь не может. На это мало кто теперь обращает внимание. Только если случится в народе выскочка, или хвастун, или крикун, люди обязательно про такого скажут:

— Видали, каков гусь лапчатый? А?

Филя

Хвалился Филя, что он всё может делать. Всё умеет.

Заставили Филю траву косить. Весь день Филя косил. Ничего не накосил. Только время потерял.

— Как же это ты, Филя, оплошал?

— Коса тупа и коса, — отвечает Филя, — то в землю норовит воткнуться, то поверх травы косит. Я лучше коров буду пасти.

Стал Филя коров пасти. Разбрелось стадо. Еле

собрали.

— Как же это ты, Филя, оплошал?

— А это не я оплошал, — отвечает Филя. — Это хозяева. Они ноги коровам не связали. А как их несвязанных пасти? Разбредаются. Я лучше баркас буду водить. В рулевые пойду.

Стал Филя баркас водить. Баркас туда-сюда рыскает. Рыскал, рыскал да и сел на мель.

— Как же это ты, Филя, оплошал?

— Клина не дали, — отвечает Филя.

— Какого клина, Филенька?

— Того, которым руль заклинивают, чтобы баркас туда-сюда не поворачивался. Я лучше на скрипке играть стану.

Стал Филя на скрипке играть. Собаки на селе завыли, кошки по чердакам попрятались. Люди на улицу выбежали.

— Ты что это, Филя, народ полошишь? Зачем хвастал, что всё можешь?

— Да глазами-то я всё, что хочешь, сделать могу, только руки меня не слушаются. Они во всём и виноваты, а не я.

Опять Филя отговорился и правым оказался. Но работы верхогляду с тех пор никто больше не доверял.

Кто мелет муку

Жил в мельничном ларе мучной червь Дармоед. Наелся он как-то свежей муки, выполз на край ларя, зевнул и спросил:

— А кто мелет муку?

— Как это — кто? — проскрежетал жёрнов. — Я!

— Нет, я, — проскрипела на это деревянная рабочая шестерня. — Я кручу ось, на которой ты, жёрнов, сидишь. Значит, я и мелю муку.

— Это ещё что? — заспорил главный вал мельницы. — На ком ты надета, шестерня? Не на мне ли? Не я ли мелю муку?

Тут мельничные крылья не утерпели и засвистели на ветру:

— Мы, крылья, всех вас вертим, крутим и двигаем! Значит, мы и мелем муку.

Услыхал это ветер и сильно разгневался. Рванул он дверь мельницы, выдул прочь мучного червя Дармоеда и так задул, что только крылья у мельницы замелькали.

От этого главный вал, деревянная шестерня и жёрнов заработали-завертелись быстрее. Веселее пошёл помол муки.

— Поняли вы теперь, кто мелет муку?

— Поняли, батюшка ветер, поняли! — ответили все.

— Ой ли? — усмехнулся мельник. — Не всем дано понимать, кто мелет муку, кому подвластны все ветры, все воды, кто строит все мельницы на земле.

Сказал так мельник и повернул главный ветровой рычаг. Остановилась работа на мельнице. Все замерли. И жёрнов, и вал, и шестерня. Потом смазал мельник скрипучие места, засыпал нового зерна, выгреб смолотую муку и опять пустил мельницу.

Плавно заработали крылья. Молча завертелись главный вал и рабочая шестерня. Без болтовни, без пустого скрипа.

— Так-то оно лучше, — молвил старый мельник.

Запер на замок мельницу, пригрозил ветру пальцем: «Смотри у меня, мели!» — и пошёл обедать да эту самую сказку своим внучатам рассказывать, чтобы они знали, кто мелет муку, кому подвластны все ветры, все воды, все мельницы на земле.

Пропавшие нитки

Жила-была сварливая старуха. К тому же неряха. Стала как-то она шить.

А у неряхи все нитки спутаны. Распутывала их, распутывала нерадивая торопыга да и крикнула:

— Пропадите вы пропадом! Чтобы глаза мои не видели вас со всем вашим нитяным отродьем!

А нитки возьми да и пропади со всем своим нитяным отродьем: кофтами, юбками, платьями и бельём. Ничего нитяного в доме сердитой старухи не осталось. Сидит старуха голышом и вопит на всю горницу:

— Батюшки-матушки, где же моя одёжа?

Кинулась старуха за овчинным тулупом, чтобы себя прикрыть. А тулуп по овчинам на куски распался. Потому как овчинные куски тоже нитками были сшиты.

Мечется старуха из угла в угол, а по избе пух летает. Наволочки у подушек тоже из ниток тканные. Не стало в доме ни варежек, ни чулок. Ни одеял, ни половиков. Ничего нитяного не стало.

Накинула старуха на себя рогожный куль да и давай у ниток прощения просить:

— Ниточки льняные, ниточки шерстяные, ни-

точки хлопковые, ниточки шёлковые! Простите меня, старуху сварливую, торопливую, нерадивую. Вернитесь в мою избу.

И так-то жалобно старуха голосит-причитает, просит, что даже нитки, испокон веков молчальницы, и те заговорили.

— Назови, — говорят нитки, — половину того, что из нас, ниток, ткётся, плетётся, вьётся и вяжется. Тогда вернёмся. Простим.

— Только-то и всего? — обрадовалась старуха. — Мигнуть не успеете, назову.

И принялась старуха называть. Назвала десяток-другой нитяных изделий-рукоделий да и осеклась.

Не всякий, кто круто берёт, далеко идёт. Спотыкается. Останавливается. Отдыхает.

Стала старуха вспоминать, что из ниток ткётся, плетётся, вьётся и вяжется. День вспоминает, два вспоминает — десятой доли не вспомнила.

Шелка, бархат, сукна, ковры, половики, ситцы, кружева. Одеяла, скатерти. Платки, шали, шарфы, ленточки разные…

Отдохнёт и опять вспоминать примется: пояски, опояски, к ботинкам завязки, сапожные ушки, накидки на подушки, тюлевые шторки, плетёные оборки, сети-мерёжи, косынки тоже…

Месяц проходит, другой начинается. А нитки не возвращаются. Старуха из сил выбивается. Другой день больше двух-трёх нитяных поделок и назвать не может.

Соседи старуху жалеть начали, подсказывают.

Сороки и те, как только выведают, где что новое из ниток делают, — старухе перестрекочут. Тоже жалеют. И вы её пожалейте. Может быть, тоже десяток-другой нитяных поделок назовёте.

Поняла она теперь, что нитки весь свет одевают. Нигде без них не обходится.

Хитрый коврик

Умной Машенька росла, да не всё понимала. Пошла она как-то в лес и ужалилась о Крапиву.

— Ах ты такая-сякая, колючая… Зачем только ты на свете живёшь? Один вред от тебя!

А Крапива рассмеялась на это и сказала:

— Так и о пчеле можно только по жалу судить. А пчела ведь ещё и мёд даёт.

Тут Маша как крикнет на весь лес:

— Да как ты можешь, бездельница, себя с пчелой-труженицей сравнивать!

— Вот что, — говорит Крапива, — приходи сюда осенью, я тебе ума-разума добавлю.

Не верилось Машеньке, что у Крапивы можно ума набраться, но пришла. А вдруг Крапива что-то дельное скажет?

— Ну давай, добавляй мне ума-разума, а я послушаю.

А Крапива пожелтела по осени. Состарилась. Голос у неё стал скрипучий, жёсткий.

— Добудь, Машенька, рукавички, — говорит Крапива, — да выдергай меня и свяжи в пучки.

Надела Машенька рукавички, выдергала Крапиву и связала в пучки.

— А теперь, — говорит Крапива, — вымочи меня в речке и потом подсуши.

Вымочила Маша Крапиву, подсушила и спрашивает:

— Ещё что придумаешь?

— Теперь, — говорит Крапива, — ломай мои стебли, мни, выколачивай из них лишнее. А дальше сама увидишь…

Опять Машенька сделала всё то, что Крапива просила, и получилось длинное, прочное крапивное волокно.

Задумалась Маша, а потом решила: коли есть волокно, из него можно нитки спрясть.

Спряла Маша нитки и снова задумалась. Думала, думала и решила из ниток коврик выткать.

Выткала она коврик и вышила на нём зелёными нитками молодую весёлую крапиву. Повесила коврик на стенку и сказала:

— Спасибо тебе, Крапива, что ты мне ума-разума добавила. Теперь-то уж я знаю, что не всё на свете пустое да негодное, что пустым да негодным кажется.

И стала с тех пор Маша обо всём думать, во всё вникать, везде, в каждой мелочи для людей пользу выискивать.

Свечка

Горела Свечка в Старом Подсвечнике, горела да и отгорела. Погасла.

Кончилась.

— Какая она недолговекая, — весело сказал Таракан, выползая из щели. — Мало пожила Свечка.

— Да, она мало пожила, — сказал, вздохнув, Старый Подсвечник, — зато ярко горела. Многим от неё было светло и радостно.

Ничего на это не ответил Таракан, уползая к себе в щель. Потому что в Подсвечник вставили новую свечу и зажгли. А Таракан не любил света и боялся его.

Шумливое море

И о чём только не рассказывает Говорливый камень на реке Вишере!

Хорошая у него память. Он знает даже и то, что было много миллионов лет тому назад. Вот что рассказал он как-то прибрежным хвойным лесам и крутым берегам Вишеры.

Может быть, вы не поверите, только там, где сейчас растут леса, высятся Уральские горы и наливаются колосья ржи и пшеницы, было Пермское море. Оно было достаточно велико, но мелководно, и поэтому шумливо, чванливо и заносчиво.

Заносчивость Пермского моря переходила всякие границы. Оно стало грубить родной матери — Земле.

— Кто ты такая? — однажды сказало Море. — Зачем ты нужна? Из-за твоих берегов и островов негде разгуляться моим волнам.

— Перестань дерзить, — предупредила его Мать-Земля. Я породила тебя. Я — твои берега, твое дно. Я — чаша, в которую ты налито.

— Что-о? Что ты сказала? — вскипело Пермское море. — Да я тебя дочиста затоплю и смою

твои негодные леса вместе с холмами, горами и полянами.

Сказав так, Море заключило союз с морским разбойником Ветром и кинулось на Землю.

Увидев это, деревья, звери, травы, птицы и насекомые очень испугались и с плачем бросились к своей матери-Земле:

— Родимая! Не дай нам пропасть! Что будет с нами, когда Море затопит тебя? Мы не хотим превращаться в рыб и морские растения.

— Не буйствуй, глупец! — ещё раз предупредила Земля. — Перестань водить дружбу с этим бездомным бродягой Ветром. Расти вглубь, а не вширь. Иначе у тебя не хватит воды и ты обмелеешь, а обмелев — высохнешь.

А Море в ответ на это подняло свою бесчестную мутную волну на родную мать и крикнуло, угрожая:

— Молчи, старуха! Готовься к своему последнему часу.

Тогда мать-Земля распрямила свою грудь. Возвысилась Уральскими горами.

Потом она сделала глубокий вдох, и дно Пермского моря поднялось выше его мутных и шумливых волн.

Вскоре Море стекло Печорой, Камой, Вычегдой,

Вяткой и другими реками в разные моря. На его месте зазеленели леса, поселились звери и птицы. А много тысяч лет спустя появился человек, построивший деревни, сёла и города.

Вот что рассказал Говорливый камень, который высится и по сей день на реке Вишере.

Луна, Лужица и бельмо на вороньем глазу

Однажды ночью одна одноглазая Ворона сделала крупные открытия.

Вечером над лесом поднялась полная румяная Луна.

— Посмотрите, какая я большая! — сказала Луна. — Я больше Солнца.

— Да, это так! — подтвердила одноглазая Ворона, заночевавшая на дереве близ болота.

К полуночи Луна отразилась в маленькой болотной Лужице. Тогда Лужица обрадованно воскликнула:

— Смотрите, а я, оказывается, больше Луны! Луна полностью уместилась в моих берегах, да ещё осталось достаточно места для звёзд.

— Да, это верно, — согласилась одноглазая Ворона и принялась размышлять. — Если Луна,

отразившись в тебе, уместилась в твоих берегах и осталось ещё место для звёзд, ты больше её. Но мой глаз больше тебя.

— Это каким образом? — спросила болотная Лужица.

— Очень просто, — сказала одноглазая Ворона. — Ты, Лужица, умещаешься в моём глазу вместе с Луной и звёздами, да ещё остается место, чтобы уместить всё болото.

Бельмо, сидевшее на левом глазу Вороны, важно сказало:

— Самое большое в мире — это я. Стоит мне пересесть на твой правый зрячий глаз, Ворона, и я закрою не только Лужицу с Луной, но и весь мир.

— Да, это правда, — ещё раз согласилась Ворона и снова принялась рассуждать о величайших открытиях, которые были ею сделаны в эту ночь.

И пусть себе мелет чепуху, а мы тем часом новый памятный узелок завяжем.

Вечный король

Один надменный король сказал другому королю:

— Как ты смешон и мал! Тебе никто не воздаёт

королевских почестей. Тебя даже не называют «ваше величество». Какой же ты король?

— Увы, — ответил тот, — между тем я король. К тому же я самый известный из всех королей! Меня знает весь свет. Обо мне написаны тысячи книг. Я беспрерывно нахожусь в сражениях… Но меня никто не назовёт кровавым королём. Побеждая в битвах, я не проливаю ничьей крови. Оказываясь побеждённым, я остаюсь невредимым. Пусть моя армия малочисленна, но она бессмертна. Пусть в моем флоте всего лишь два судна, но они непотопляемы. Я единственный из королей, которого нельзя свергнуть. Я единственный из королей, кому революции приносят новую популярность в народе и признание…

Так говорил при общем молчании, ничего не преувеличивая, не произнося ни единого слова неправды, всемирно известный король, стоя рядом со своей королевой в окружении свиты на… шахматной доске.

Мелкие калоши

Ах!.. Вы даже не можете представить, как мне не хочется рассказывать эту прескверную историю о мелких калошах. Она произошла буквально

на днях в передней нашей большой квартиры, в которой так много хороших людей и вещёй.

И мне так неприятно, что это всё произошло у нас в передней.

Началась эта история с пустяков. Тётя Луша купила полную кошёлку картофеля, поставила её в передней, подле вешалки, а сама ушла.

Когда тётя Луша ушла и оставила кошёлку рядом с калошами, все услышали радостное приветствие:

— Здравствуйте, милые сестрички!

Как вы думаете, кто и кого приветствовал подобным образом?

Не ломайте голову, вы никогда не догадаетесь. Это приветствовали розовые крупные Картофелины новые резиновые Калоши.

— Как мы рады встрече с вами, милые сестрички! — перебивая одна другую, кричали круглолицые Картофелины. — Какие вы красивые! Как вы ослепительно блестите!

Калоши, пренебрежительно посмотрев на Картофель, затем надменно сверкнув лаком, довольно грубо ответили:

— Во-первых, мы вам никакие не сёстры. Мы резиновые и лаковые.

Во-вторых, общего между нами только первые

две буквы наших имен. И в-третьих, мы не желаем с вами разговаривать.

Картофелины, потрясённые высокомерием Калош, умолкли. Зато вместо них стала говорить Трость.

Это была весьма уважаемая Трость учёного. Она, бывая с ним всюду, очень многое знала. Ей пришлось походить с учёным по разным местам и повидать чрезвычайно интересные вещи. Ей было что рассказать другим. Но по своему характеру Трость была молчалива. Именно за это её и любил учёный.

Она не мешала ему размышлять. Но на этот раз Трость не захотела молчать и, ни к кому не обращаясь, сказала:

— Бывают же такие зазнайки, которые, попадая всего лишь в переднюю столичной квартиры, задирают носы перед своей простой родней!

— Вот именно, — подтвердило Драповое Пальто. — Так и я могло возгордиться моим модным покроем и не узнать своего родного отца — Тонкорунного Барана.

— И я, — сказала Щётка. — И я могла бы отрицать своё родство с той, на хребте которой я росла когда-то щетиной.

На это легкомысленные Калоши, вместо того

чтобы задуматься и сделать необходимые для себя выводы, громко расхохотались. И всем стало ясно, что они не только мелки, надменны, но и глупы. Глупы!

Трость учёного, поняв, что с такими гордячками церемониться нечего, сказала:

— Какая, однако, у Калош короткая память! Её, видимо, затмил их лаковый блеск.

— О чем ты говоришь, старая суковатая палка? — стали защищаться Калоши. — Мы всё очень хорошо помним.

— Ах так! — воскликнула Трость. — Тогда скажите, сударыни, откуда и как вы появились в нашей квартире?

— Мы появились из магазина, — ответили Калоши. — Нас там купила очень милая девушка.

— А где вы были до магазина? — снова спросила Трость.

— До магазина мы пеклись в печи калошной фабрики.

— А до печи?

— А до печи мы были резиновым тестом, из которого нас слепили на фабрике.

— А кем вы были до резинового теста? — допрашивала Трость при общем молчании всех находившихся в передней.

— До резинового теста, — слегка заикаясь, отвечали Калоши, — мы были спиртом.

— А кем вы были до спирта? Кем? — задала Трость последний, решающий и убийственный вопрос высокомерным Калошам.

Калоши сделали вид, что они напрягают память и не могут вспомнить. Хотя та и другая отлично знали, кем они были до того, как стать спиртом.

— Тогда я напомню вам, — торжествующе объявила Трость. — До того как стать спиртом, вы были картофелинами и росли на одном поле и, может быть, даже в одном гнезде с вашими родными сёстрами. Только вы росли не такими крупными и красивыми, как они, а мелкими, плохонькими плодами, которые обычно отправляют в переработку на спирт.

Трость умолкла. В передней стало очень тихо. Всем было неприятно, что эта история произошла в квартире, где жили очень хорошие люди, которые относились с уважением к окружающим.

Мне больно рассказывать вам об этом, тем более что Калоши не попросили извинения у своих родных сестёр.

Какие мелкие бывают на свете калоши. Фу!..

Про два колеса

В одном новом велосипеде жили-были два колеса. Переднее и Заднее — ведущее и ведомое. Так как ведущего от ведомого отличить иногда очень трудно и на этой почве нередко возникают споры, велосипедные колеса тоже заспорили.

Заднее Колесо утверждало:

— Если я двигаю велосипед, если я его веду, — значит, я и есть ведущее колесо.

Переднее Колесо на это резонно отвечало:

— Где видано, чтобы ведущий шёл позади, а ведомый спереди? Я качусь и веду тебя по моему следу. Значит, я и есть ведущее колесо.

На это Заднее Колесо приводило пример с пастухом и баранами.

— Когда пастух гонит баранов, он тоже находится позади, но никто не скажет, что бараны ведут пастуха.

— Если ты позволяешь себе сравнивать меня с животными, — возмущалось Переднее Колесо, — то не лучше ли представить себе осла, который, идя на поводу за хозяином, стал бы утверждать себя ведущим, а хозяина ведомым.

— Как тебе не стыдно? — взвизгнуло на пово-

роте Заднее Колесо. — Это нелепое сравнение по внешнему сходству. Нужно смотреть глубже. Мои спицы напряжены до предела. Я, изнашивая преждевременно мою шину, привожу тебя в движение. И ты бежишь налегке. На холостом ходу. Да ещё виляешь куда тебе вздумается, и при этом называешь себя ведущим колесом.

— Перестань говорить глупости, — снова возразило Переднее Колесо. — Я не виляю куда мне вздумается. Я веду тебя, выбирая лучшую дорогу. Я первым принимаю на себя толчки и удары. Моя камера в проколах и заплатах. Кому бы нужно было твое прямолинейное ограниченное движение, если бы не моё лавирование? Я веду тебя. Я! — кричало, дребезжа щитком, предохраняющим от грязи, Переднее Колесо. — Без меня нет Велосипеда. Велосипед — это я!

— Тогда отвинтись и катись! — предложило Заднее Колесо. — Посмотрим, каким будет твое качение без моих усилий… Посмот… — не договорило оно, свалившись набок, потому что в этот миг Переднее Колесо отвинтилось и покатилось в одиночку… Оно катилось метр, два, три… тридцать метров, а затем свалилось набок.

Пролежав некоторое время на обочине дороги, колеса поняли, что без ведущих колес нет движе-

ния, как и без ведомых.

Они убедились на собственном опыте, что ведущим и ведомым быть одинаково трудно и одинаково почётно даже в таком простейшем колёсном объединении, как велосипед, не говоря уже об автомобиле, поезде, а также о более сложных содружествах других колес, шестерён, маховиков и прочих деталей, составляющих единое целое в разумном и сознательном взаимодействии всех для успешного продвижения.

Некрасивая ёлка

В датском говорящем лесу росли датские говорящие деревья. Они разговаривали только по-датски.

В жаркие солнечные дни, изнемогая от зноя, деревья перешёптывались друг с другом так тихо, что даже чуткие птицы не могли разобрать, о чём они шепчутся. Зато как только поднимался ветер, в лесу начинался такой шумный разговор, что его без труда мог услышать всякий.

Самой болтливой в лесу была Осина. Её голос, звенящий одиннадцатью тысячами листочков, не умолкал и в полдень. Осина любила позлословить, как, впрочем, и Берёза. А Ёлка наоборот.

Ёлка была на редкость молчалива и задумчива. Она, в отличие от своих стройных и красивых сестёр, росла не очень красивой. Даже, скажем прямо, совсем некрасивой: однобокой и кривой.

Ёлку не любили её лесные братья, хотя ни одному из них она не сделала ничего дурного. Она не затеняла им солнца, не лишала их влаги, не шелестела, как Дуб или Ясень. Вообще она вела себя очень скромно. Но деревья усвоили отвратительную манеру отношения друг к другу — по внешности. По одёжке. По красоте ветвей и строению кроны. А Ёлка была дурнушкой. Это и послужило поводом для насмешек самовлюбленного Ясеня, молодого красавца Клёна и Берёзы с изысканно тонкими ветвями.

Не любили они Ёлку и потому, что ей оказывал особое внимание Сказочник, пользовавшийся большим уважением в лесу. Он часто садился под елью со своими тетрадями и писал сказки или задумчиво мечтал.

Почему он предпочитал именно её тень, никто не знал, но болтали в лесу разное.

Ясень говорил, что Сказочник, так же как и Ёлка, одинок, некрасив и долговяз. Клён находил, будто Ёлка специально для Сказочника осыпает мягкие иглы, чтобы ему было удобнее сидеть под

нею. Береза городила такое, что лучше не повторять этого. И вообще мы не должны брать на себя роль Ветра, который разносит нелепые лесные слухи. К тому же нам давно пора приступить к главному и начать с того, как в лес однажды пришли лесорубы и срубили старый Дуб и как в лесу раздался громкий плач. Плакали дети, внуки, племянники и друзья старого Дуба. Им казалось, что уже всё кончено. И особенно после того, как старый Дуб был распилен на кряжи и увезён из леса.

Когда дубовая родня оплакивала свежий пень, появился Сказочник. Ему тоже было жаль, что в лесу не стало зелёного богатыря, трёхсотлетнего Дуба.

И его слёза капнула на срез пня.

Но слезы никогда не помогают горю. Зная об этом, он решил рассказать сказку о том, во что иногда превращаются деревья, когда их увозят из леса.

— Господа, — сказал он по-датски, обращаясь к деревьям, — не угодно ли вам прослушать сказку о вашем завтрашнем дне?

В говорящем лесу стало тихо. Деревья насторожили свои листья и стали слушать.

— Никому из вас, как, впрочем, и мне, — начал

Сказочник, — не хочется покидать этот прекрасный лес. Но не все, уходя из него, перестают жить. Не все, оказавшись срубленными, умирают.

Лес зашумел и насупился. Начало сказки деревьям показалось не более чем утешительным враньём.

Сказочник подал знак. В лесу стало снова тихо.

— А известно ли вам, господа, что Дуб проживёт ещё сотни и сотни лет, когда он станет дубовым резным потолком библиотеки? А он станет именно им.

Так ли уж плохо это, господа деревья?

Деревья одобрительно зашелестели. Теперь Сказочник, овладев вниманием слушающих, спокойно уселся на золотой ковёр мягкой еловой осыпи и стал говорить о том, как снова придут в лес лесорубы и спилят созревшие деревья, не давая им сгнить на корню и превратиться в ничто. Спиленные деревья станут домом, мостом, музыкальными инструментами, мебелью или паркетным полом, чтобы жить и служить поколениям.

— Так ли уж это плохо, господа? — сказал он и продолжил сказку о том, как одна мечтательница Сосна превратилась в корабельную мачту и побывала в Индии, Китае, на Курильских остро-

вах… Стал рассказывать, как одна Осина стала тридцатью тремя корытами.

— Превращение в корыта хотя и не так заманчиво, — сказал он, — всё же стать корытом лучше, чем никем, ничем и ни для кого.

— Это верно, — заметила слегка обиженная Осина, — превратиться в корыта куда приятнее, нежели стать дровами. Да, дровами, — повторила она, покосившись на некрасивую Ёлку и окидывая её неприязненным взглядом от корня до вершины.

Заметив этот взгляд, самовлюблённый Ясень спросил Сказочника:

— А почему бы вам не рассказать об еловых дровах?

— Вот именно, — поддержал надменный Клён. — Это бы вселило радужные надежды нашей общей знакомой.

Сказочник смутился. Ему не хотелось огорчать некрасивую Ёлку. Он любил её. Он жалел её. Но правда выше любви и жалости.

— Господа, — тихо сказал Сказочник, — разве уж так плохо сгореть для других? Ведь должен же кто-то радовать детей и согревать их в зимнюю стужу.

Должен же кто-то выпекать хлебы и плавить

металл.

— Да, конечно, конечно, господин Сказочник, кто-то должен это делать, — подтвердил Ясень. — Но согласитесь, что всё-таки лучше стать полированным столом или буфетом, нежели золой и пеплом.

— Хотя, — усмехнулась Берёза, — зола тоже на что-то нужна. Ею, кажется, чистят кастрюли, посыпают тротуары. Так ли уж это плохо, господа? — прошелестела она, издевательски повторяя фразу Сказочника.

Деревья дружно захохотали.

Сказочник снова умолк, а затем, коснувшись рукой Ели, сказал в раздумье:

— Впрочем, никто не знает, как может повернуться судьба. Одни, собираясь жить в веках, забываются ранее, чем увядают цветы на их могилах.

Другие, живя скромно и тихо, ни на что особенное не рассчитывая, не думают о бессмертии, а оно, несмотря на это, приходит само. Не отчаивайтесь, некрасивая Ёлка! Как знать, может быть, всё будет по-другому.

С тех пор прошло много лет. Деревья выросли и возмужали. Под некрасивой Ёлкой жили муравьи. Сказочник давно уже не появлялся в лесу,

и, как сообщил Ветер, Ель больше никогда не укроет его прохладной и ласковой тенью своих ветвей. Два лесоруба — Время и Возраст — сделали свое дело.

— М-да! — сказал Ясень. — Хотя он и ярко горел… хотя нам от него было тепло и радостно, всё же он сгорел, как сгорают дрова.

— Вот именно, — подтвердил Клён, ставший ещё выше и надменнее. — Если выражаться образно, то он был среди людей не более чем некрасивая Ёлка. То ли дело мы! Мы — ценные деревья. Мы можем превратиться во что угодно: и в спальню королевы, и в трон короля.

Ёлка молча слушала хвастливые, самодовольные рассуждения, и тонкие струйки смолы катились по её шершавой коре. Ёлка не переставала верить, что она встретится со Сказочником и услышит знакомые слова любимых сказок.

Но напрасно. С ним можно было теперь встречаться только во сне.

Поэтому Ёлка часто дремала, надеясь увидеть золотой сон. А он не приходил.

Зато пришли лесорубы. Лесорубы спилили созревшие деревья, и каждое из них получило свое назначение. У поваленной Сосны обрубили ветки и верхушку, затем доставили её на корабельную

верфь. Она будет высокой мачтой.

Ясень, Клён и Берёза были отправлены на мебельную фабрику. Осину предназначили для корыт.

Дошла очередь и до некрасивой Ёлки. Её распилили на мелкие чурбаки.

«Так и есть, — подумала Елка, — я стала дровами. Теперь мне только остаётся сгореть так же ярко, как сгорели вы, дорогой друг, озаряя нас волшебным светом своих сказок».

Готовясь отправиться в топку котла или камина, Ёлка забыла слова Сказочника о том, что «никто не знает, как может повернуться судьба».

Судьба Ёлки повернулась самым неожиданным образом. Ёлка попала на бумажную фабрику и превратилась в ослепительно белые, тонкие, плотные листы бумаги.

Теперь перед нею открылись тысячи возможностей. Она могла стать конвертами и совершать на всех видах транспорта почтовые путешествия. Она могла оказаться газетой или географической картой. Она могла стать нарядной театральной афишей и зазывать людей на представление.

Мало ли куда идёт бумага… Но не будем, однако, строить предположения. Всё оказалось куда лучше, чем может нарисовать самое пылкое

воображение.

Елку отправили в типографию, и там она стала превращаться в книгу. В какую? Книга книге рознь. А она стала превращаться в прекрасную книгу сказок. Это она почувствовала тотчас, как на ней появились отпечатанные блестящей чёрной краской дорогие её сердцу слова…

Это были сказки, слышанные ею в дни юности в говорящем лесу.

— Неужели мы с вами встретились снова? — сказала Ёлка, ставшая бумагой, и увидела Сказочника.

Он появился на первой странице — отпечатанный великолепными портретными красками.

— Теперь я вижу, — сказала она, — что не все, оказавшись срубленными, умирают. Мы стали жить с вами книгой сказок.

Искусные руки переплётчика одели книгу в нарядную одежду с золотой отделкой и затейливым тиснением.

Как она красива была теперь! На неё можно было любоваться часами, читать и слушать сутками напролёт. Её бережно брали и очень осторожно листали. Сказки смешили и радовали. Сказки учили мудрости, возвышали души, согревали сердца, будили ненависть к злу и утверждали

светлое.

Вскоре Ёлка, став книгой, очутилась на серебристой берёзовой полке в самом лучшем ясеневом шкафу библиотеки. Она сразу узнала этот шкаф. Он оказался таким же самовлюбленным, каким рос в сказочном говорящем лесу.

Ясеневый Шкаф очень громко хвалился своей новой жилицей на центральной полке:

— Видишь ли ты, Кленовый Стол, какое сокровище живёт во мне?

— Да, — ответил Кленовый Стол. — Какие мы благородные деревья!

— Как бы позавидовала нам та некрасивая Ёлка, — обрадовалась Берёзовая Полка, — как бы позавидовала она, если б могла увидеть, во что мы превратились! С какой отличной книгой живём мы теперь в соседстве! Что ты скажешь на это, старый Дуб? — обратилась Берёзовая полка к Резному Потолку.

Мудрый Резной Потолок хитро усмехнулся с высоты своими замысловатыми узорами и застыл в своей изумительной орнаментальной улыбке.

Он, видимо, всё понял.

Теперь у Ёлки были все основания произнести сокрушительную отповедь по адресу Клёна, Ясеня и некоторых других, глумившихся над нею.

Но она ничего не сказала, потому что это была добрая, великодушная, настоящая Ёлка. А она могла бы сейчас отчитать их не только по-датски, но и по-английски, и по-немецки, и по-русски, и по-французски. Потому что всемирно известная книга датского сказочника разговаривала на всех языках мира. Даже на тех, которые пока ещё не имеют букв и грамматики. Она сумела бы их отчитать и на этих языках…

Но разве счастье в торжестве низменной страсти возмездия? Это жалкая радость слабых. Ради этого не стоило рассказывать сказку о бессмертии прекрасного.

Вот и всё.

Сказка о большом колоколе

Давно уже нет в живых того матроса, который кораблём в Англию прибыл и в городе Лондоне занедужил, а сказка о нём живёт.

Остался русский матрос в городе Лондоне. В хорошую больницу его положили. Провианту, денег оставили:

— Выздоравливай, дружба, и жди свой корабль!

Сказали так корабельные дружки и ушли об-

ратным курсом в родную русскую землю.

Недолго болел матрос. Хорошими лекарствами его лечили. Микстру там, порошков, капель не жалели. Ну, да и жизнь своё взяла. Архангельских кровей парень — коренных поморских родителей сын. Такого разве болезнью сломишь!

Выписался матрос из больницы. Бушлатик почистил, пуговицы надраил. Ну, и остальным предметам одежды жаркий утюг дал. В гавань отправился — земляков поискать.

— Нет здесь твоих земляков, — говорят ему в гавани. — Исландия третью неделю туманы гонит. Откуда русским парусам в Лондоне быть?

— Не беда, — говорит матрос. — Я глазастый. И на ваших кораблях землячков сыщу.

Сказал так и на английский корабль ступил. Ноги о матик вытер, флагу честь отдал. Представился.

Англичанам это любо. Потому как морской порядок везде один.

— Смотри ты каков! По всей форме моряк. Только жалко, что земляков тебе на нашем королевском корабле не сыскать.

А матрос на это улыбается, ничего не говорит, к грот-мачте направляется.

«Зачем, — думают моряки, — ему наша грот-

мачта понадобилась?»

А русский матрос подошёл к ней, погладил её рукой и говорит:

— Здорово, землячка, архангельская сосна!

Очнулась мачта, ожила. Будто от долгого сна проснулась. Мачтовым русским бором зашумела, янтарной смоляной слезой прослезилась:

— Здравствуй, земляк! Рассказывай, как дома дела.

Переглянулись английские моряки:

— Смотри ты, какой глазастый! Землячку на нашем корабле сыскал.

А матрос тем временем с грот-мачтой задушевные разговоры разговаривает. Какие дома дела, рассказывает, мачту обнимает:

— Ах ты, милая моя, хорошая! Мачтовое ты чудо-дерево. Дух твой родной-лесной ветры не выдули. Гордость твою шторма не согнули.

Смотрят английские моряки — и борта корабля русскому матросу улыбаются, палуба под его ноги стелется. А он в них родной сердцу узор узнаёт, родные леса и рощи видит.

— Гляди ты, сколько у него земляков! На чужом корабле как дома, — шепчут про себя английские моряки. — И паруса к нему ластятся.

Ластятся к матросу льняные паруса, и коно-

пельные-корабельные канаты-швартовы у его ног извиваются, как к родному льнут.

— А паруса-то к тебе зачем ластятся? — спрашивает капитан. — Они-то ведь в нашем городе Лондоне вытканы.

— Это так, — отвечает матрос. — Только до этого-то они льном-долгунцом на псковской земле росли. Как мне не приголубить их! Да и те же канаты взять. И они ведь у нас четырёх-пятиаршинной коноплей уродились. Поэтому и к вам пожаловали.

Говорит так матрос, а сам на якоря косится, на пушки поглядывает. В те годы наше железо, наша медь, наш чугун с Уральских гор ходко во многие страны шли: в Швецию, в Норвегию, в Англию.

— Ну до чего ж я в хорошую компанию попал! — радуется матрос.

— Ах, какой ты глазастый, русский матрос! Везде своё родное разглядеть можешь. Дорого, видно, тебе оно.

— Дорого, — ответил матрос и принялся такое про наши края рассказывать, что зыбь на море стихла, чайки на воду сели.

Вся команда заслушалась.

А в это время на главной лондонской колокольне часы отбивать стали. В большой колокол

ударили. Далеко его бархатный звон над полями, лесами, реками поплыл и по-над морем пошёл.

Слушает этот звон русский моряк, не наслушается. Даже глаза закрыл. А звон дальше и дальше разносится, на низкой, отлогой волне укачивает. Нет равного ему голоса на всех колокольнях старой Англии. Старик остановится, вздохнёт, девица улыбнётся, дитя стихнет, когда этот большой колокол зазвонит.

Молчат на корабле, слушают. Любо им, что русскому матросу звон ихнего колокола по душе пришёлся.

Тут моряки, смеясь, спрашивают матроса:

— Не земляка ли опять ты в колоколе признал?

А матрос им в ответ:

— Не могу твёрдо сказать, а голос у колокола знакомый. С московским выговором, с русской протяжностью.

Удивился английский капитан, как это русский матрос своё родное не только видеть, но и слышать может. Удивился, а про колокол ничего не сказал, хотя он и доподлинно знал, что этот колокол русские мастера в Московии для Англии отливали и русские кузнецы ладный ему язык выковали.

Промолчал корабельный капитан. А по какой причине промолчал, про то сказка молчит. И я помолчу.

А что касаемо большого колокола на самой большой, Вестминстерской, колокольне старой Англии, так он и по сей день русским кованым языком английские часы отбивает. Бархатно отбивает, с московским выговором.

Не всем, конечно, его звон по душам да по ушам, только теперь уж ничего сделать нельзя. Не снимать же колокол! А сними — так он ещё громче в людской молве благовестить начнёт. Пускай уж висит, как висел, да с московскими кремлёвскими братьями-колоколами перезванивается, да толкует о голубом небе, о тихой воде, о солнечных днях… О дружбе.

Как огонь воду замуж взял

Рыжий разбойник Огонь пламенно полюбил холодную красавицу Воду.

Полюбил и задумал на ней жениться.

Только как Огню Воду замуж взять, чтобы себя не погасить и её не высушить?

Спрашивать стал. И у всех один ответ:

— Да что ты задумал, рыжий? Какая она тебе

пара? Ты что? Зачем тебе холодная Вода, бездетная семья?

Затосковал Огонь, загоревал. По лесам, по деревням пожарами загулял.

Так и носится, только рыжая грива по ветру развевается.

Гулял Огонь, горевал Огонь да встретился с толковым мастеровым человеком. Иваном его звали.

В ноги ему пал Огонь. Низким дымом стелется. Из последних сил синими языками тлеет.

— Ты — мастеровой человек, ты всё можешь. Хочу разбой бросить, хочу я своим домом жить. Воду замуж взять хочу. Да так, чтобы она меня не погасила и я её не высушил.

— Не горюй, Огонь. Сосватаю. Поженю.

Сказал так мастеровой человек и терем строить стал. Построил терем и велел свадьбу играть, гостей звать.

Пришла с жениховой стороны огневая родня: тетка Молния да двоюродный брат Вулкан. Не было больше у него родных на белом свете.

С невестиной стороны пришёл старший братец Густой Туман, средний брат Косой Дождь и младшая сестричка Воды — Ясноглазая Роса.

Пришли они и заспорили.

— Неслыханное дело ты, Иван, задумал, — говорит Вулкан и пламенем попыхивает. — Не бывало ещё такого, чтобы наш огневой род из водяной породы невесту выбирал.

А мастеровой человек отвечает на это:

— Как же не бывало! Косой Дождь с огневой Молнией в одной туче живут и друг на дружку не жалуются.

— Это всё так, — молвил Густой Туман, — только я по себе знаю: где Огонь, где тепло, там и редеть начинаю.

— И я, и я от тепла высыхаю, — пожаловалась Роса. — Боюсь, как бы Огонь мою сестру Воду не высушил.

Тут Иван твердо сказал:

— Я такой терем построил, что они будут в нём жить да радоваться. На то я и мастеровой человек.

Поверили. Свадьбу стали играть.

Пошли плясать Молния с Косым Дождём. Закурился Вулкан, засверкал ярким пламенем, в ясных глазах Росы огневыми бликами заиграл. Густой Туман набражничался, на покой в овраг уполз.

Отгуляли гости на свадьбе и восвояси подались. А мастеровой человек жениха с невестой в терем

ввёл. Показал каждому свои хоромы, поздравил молодых и пожелал им нескончаемой жизни да сына-богатыря.

Много ли, мало ли прошло времени, только родила мать Вода от отца Огня сына-богатыря.

Хорошим сын богатырем вырос. Горяч, как родимый батюшка Огонь. А облик дядин — густ и белёс, как Туман. Важен и влажен, как родимая матушка Вода.

Силён, как Вулкан, как тётушка Молния.

Вся родня в нём своего кровного узнает. Даже Дождь с Росой в нём себя видят, когда тот стынет и капельками на землю оседает.

Хорошее имя дали сыну-богатырю: Пар.

На телегу сядет Пар-богатырь — телега его силой покатится да ещё сто других телег поездом повезет.

На корабль ступит Пар-чудодей — убирай паруса. Без ветра корабль катится, волну рассекает, паровой голос подаёт, корабельщиков своим теплом греет.

На завод пожалует — колеса завертит. Где сто человек работали — одного хватает. Муку мелет, хлеб молотит, ситец ткёт, людей и кладь возит — народу помогает, мать, отца радует.

И по наши дни живут Огонь с Водой в одном

железном котле-тереме. Ни она его не гасит, ни он её высушить не может.

Счастливо живут. Нескончаемо. Широко.

Год от году растёт сила их сына-богатыря, и слава о русском мастеровом человеке не меркнет. Весь свет теперь знает, что он холодную Воду за жаркий Огонь выйти замуж заставил, а их сына-богатыря нам, внукам-правнукам, на службу поставил.

Фока – на все руки дока

В одной стране никудышный царь Балдей правил. Ну, и стольники-пристольники, дьяки думные тоже под стать ему недоумками слыли. А народ в этой стране на редкость был дошлый. Много в народе мастеров было разные разности придумывать, хоть, к примеру, Фоку того же взять… О нём и сказка.

Как-то посеяли мужики царю Балдею горох… Земля в тех местах хорошая была. Дожди — когда надо. Солнышко тоже у других царств-государств занимать не приходилось. Сильный горох родился, да беда: ворон на гороховом поле черным-черно. Клюют урожай.

— Что делать, как быть, мудрый государь Бал-

дей Обалдуевич? — кланяется царю думный дьяк Пустая Голова.

— Надо боярскую думу скликать, — велит царь Балдей.

Скликали думу и стали думой думу думати.

День думали, два дня судили-рядили, на третий день указ обнародовали:

«Мы, царь Балдей Третий, государь премудрый, всея державы властитель, горохового поля повелитель, и прочая, и прочая… указываем подъярёмному мужику Фоке Лежебоке денно и нощно на гороховом поле трещоткой трещать — ворон стращать».

Пришёл Фока на гороховое поле, а оно черным-черно от ворон. Поймал пяток крылатых разбойниц и стал беличьи колеса мастерить. Как у царя в тереме: посадят в такое колесо белку, она бегает в нём и колесо вертит.

Приладил он к этим беличьим колёсам трёщотки, посадил в каждое колесо вместо белки по вороне.

Вороны колеса вертят, колёса трещотками трещат, и чем пуще треск, тем шибче очумелая ворона в колесе скачет, себе и другим воронам испуг нагоняет. Посветлело поле. Вороны даже мимо летать боятся. Думный дьяк Пустая Голова

проверить пришёл, как царёв указ исполняется.

Что такое? Ни Фоки, ни ворон. Трещотки трещат — не умолкают, вороны ворон пугают. Удивление!

— Так и так, великий царь Балдей Обалдуевич. Вороны ворон пугают, а Фока Лежебока свои дела дома справляет. Народ Фоку умником называет, почести воздаёт. Своеволие!

А Балдей любил — хоть хуже, да по нему. Не терпел новину. Боялся нового, как таракан света. На что уж во всех прочих державах вилками ели, а он — пятерней. Как тятенька, как дед-прадед. Летом на санях ездил — тележного скрипу пугался. Весь в отца — дубовая голова.

К тому же и побаивался Балдей, что кто-то в его царстве умнее объявится. Разве мыслимо, чтобы кто умнее царя был!

Распалился Балдей — ногами затопал, закричал:

— Повелеваю Фоке Лежебоке горох за одну ночь убрать!

Получил царское повеление Фока, запряг лошадь в борону и начисто выборонил горох да в кучу сложил.

Утром с поклоном к царю:

— Исполнил твой приказ, царь Балдей.

Услыхал это Балдей, пуще вчерашнего в ярость вошёл:

— Слыхано ли? Работы двумстам мужикам на неделю — и то не выдергают. А он за ночь управился. Повелеваю за два дня обмолотить горох!

Расчистил Фока круглый ток. Стаскал на него кучи. Пустил лошадей.

Лошади ходят по кругу, копытами горох из стручков вымолачивают.

— Обмолотил, царь. Вели проверить.

На царе лица нет. Губа с досады, как у старой лошади, отвисать начала.

Он Фоку посрамить хотел, невозможный урок ему задал. А Фока всех удивил, царя посрамил, самого себя славить заставил. Если так пойдёт, так хоть с престола слазь.

Порешил царь Фоку непосильной работой доконать и приказал:

— Провеет пусть. Два дня сроку даю. Да чисто, соринки чтобы не было.

Задумался Фока. Не такое лёгкое дело — горох провеять. В Балдеевом царстве его по старинке веяли: из горсти в горсть пересыпали и дули что есть мочи. Выдували из зерна сор и шелуху.

Если так веять Фоке, так и году не хватит. Да и где в одном человеке столько дутья взять?

Разостлал Фока зипун, лег на бочок и думать стал.

В умной голове никогда солнышко не заходит, всегда светло. У кого мысли цепкие, ветер их не выдует, а даже свои нашепчет.

Так и случилось. Умел Фока болтливый ветер слушать. Выведал у него, как горох за два дня провеять.

Поднялся Фока до зари, полез на крутую крышу царева дворца. Приладил к ней деревянный жёлоб. Огородил тесинками крышу так, чтобы горох в желоб скатывался, и принялся мешками смолоченный горох таскать, на крышу сыпать.

Катится по крутой царской крыше горох во все стороны, а тесинки-боковинки его в жёлоб направляют. Бежит по жёлобу горох и с разбегу в царский закром сыплется, а пока от конца жёлоба до закрома летит, ветер из него всё шелуху до пылинки выдувает.

Толпится народ. Шумит. Разные слова выкрикивает:

— Вот каким людям надо царством править!

— Ай да Фока — на все руки дока!

Так шумят, что царя раньше обеденной поры разбудили. Глядит он — горох ветром веется, с разбегу в закрома сыплется. А Фока лежит на

боку, нежится на царской крыше да кое-когда жёлоб из одного закрома в другой нацеливает.

Застонал от обиды царь. Парчовый рукав со злости изжевал, чуть резной пуговкой не подавился. Думу трубой созывать повелел. Народ в царстве всполошил. Балдеевы думники во дворец бегут, а народные умники у дворца толпятся. Фоку прославляют да его выдумку перенимают.

Тёмным людям свет всегда глаза режет. У дураков от чужого ума всегда голова болит. Удумала дума новый указ:

«Мы, царь-государь Балдей Третий, повелеваем ленивому Фоке Лежебоке за неделю горох в муку перетолочи».

Помрачнел народ. И Фока запечалился. У него овсы не убраны, своя рожь в поле не сжата стоит.

Пошёл опять ветер в поле слушать, ночь на зипуне не спать, дарового работника искать.

Ветреная ночь была. Дерева туда-сюда так и качает. А Фока всё видит и на ус мотает. И что надо было ему, то он и намотал.

Приносят ему утром царские слуги песты, ступы да мешки для гороховой муки.

— Толки горох! Если опять на боку лежать станешь — хуже будет.

Куда уж хуже — из стольких закромов горох перетолочь! Только не стал Фока руками горох мельчить. Дерева вместо себя поставил толчеями.

Натянул Фока от одного дерева к другому верёвку. Подвязал посередь верёвки пест, поставил под него ступу и засыпал её горохом. Так и другую, и третью — и все, сколько было, ступы пристроил.

Дерева туда-сюда качаются, веревку то натягивают, то ослабляют. От этого тяжёлый пест то подымается, то опускается — сам собой горох толчёт. А Фока тем часом свою рожь-пшеницу молотит, овсы убирает. Выберет из ступ гороховую муку, новым горохом их засыплет — и опять за свою работу.

Весело толкут горох даровые работники. В лесу только стукоток идет.

Народ Фоку честит и славит, челом ему за науку бьёт, первым умником его называет и самотолчные песты перенимает.

А царские прислужники к царю Балдею с доносом бегут:

— Ваше величие! Твой неслух Фока таким умником себя выказывает — самого царя переплюнуть умом-разумом хочет. Самотолчные песты в роще поставил. Всю работу исполнил.

Кровью налились Балдеевы глаза.

В ярости так головой мотнул, что корона слетела, под амбар закатилась.

— Смерть ему! Смерть! Только казни не удумаю. Думу трубите.

Опять труба трубит, народ валит, полоумные дьяки в исподниках на босу ногу в сапогах бегут:

— Чем тебе служить, царь?

— Придумайте, бояре, лютую казнь Фоке Лежебоке.

Тут думный дьяк Пустая Голова почесал под мышками да и говорит:

— Пресветлый царь Балдей Обалдуевич! Нашу державу волки одолели, всех овец прирезали. Пусть Фока волков из царства выгонит. Глядишь, они его и заедят.

— Вот так голова! — говорит царь. — Всей думой думай, лучшей казни не удумаешь. Пиши указ.

Услыхал народ указ. Понял народ, как тёмный царь за светлый ум Фоку жалует, перешёптываться начал, сговариваться. Сплачиваться. Порознь народ — дождь, а вместе — полая вешняя вода. Сила! Какую хочешь преграду смоет.

— Надо, ребята, Фоке подмогнуть, — говорят мужики. — Какая тебе, Фока Корнеич, подмога нужна?

— Помогите, — отвечает Фока, — если милость будет. Поймайте мне десятка два волков. А я буду им кумачовые жилетки шить, да огненного цвета краску для их морд разводить, да колокольцы-бубенцы делать.

— Это зачем?

— Увидите, — отвечает Фока.

Поймал народ два десятка волков. И живьём их в мешках Фоке доставил.

Обрядил Фока волков в кумачовые жилетки, намазал им морды огненной краской, привязал им под брюхо колокольцы, нанизал на хвосты бубенцы да петушиные перья и выпустил на волю.

Кинулись волки к своим стаям, а стаи от них. Боятся огненных морд.

Страшатся кумача. А звон для них хуже стрельбы. В леса стаи кинулись, а Фокины волки не отстают от своих, ходу прибавляют. От своего звона уйти хотят. От своих волчьих хвостов с бубенцами убежать. А как убежишь? За одну ночь ни одного волка в этой земле не стало. А Фока косит себе овсы да под озимые клин земли подымает.

Царя вовсе узнать нельзя. Волк рядом с ним за ягнёнка сойдёт. Оба рукава сжевал. Каменья от обиды из короны выколупывать начал.

— Без думы его казню. На плаху! Только как народу об этом объявить? До греха недолго. Вину надо придумать, закон подвести.

А думный дьяк тут как тут:

— А, ваше царское преувеличество, я хоть и Пустая Голова, а закон могу подвести! Фока герб нашей державы обесчестил.

— Какой такой герб?

— Как же, ваше еси до небеси! На гербе у нас волк в короне овцу на загривке тащит. Овец волки приели, а волков Фока в чужие земли выгнал. Мы теперь царство с фальшивым гербом. У нас ни волков, ни овец. Что другие державы скажут?

— Боже ж ты мой! Да у тебя ума больше, чем у меня в закромах гороху.

Готовь указ о казни. Вели палачу топор точить, урядникам — плаху на дворцовую площадь выкатывать. Завтра казнь.

Занялась заря. Поднялось солнышко, красное, ясное. Фоку на казнь ведут. Жена замертво лежит. Дети Фокины при живом отце сироты.

Высоко поднял палач топор. Взыграло лютое Балдеево сердце.

Рубанул по широкой жилистой шее топор палача… и согнулся.

— Что же это, царь? — спрашивает при всём

народе Фока. — Твой топор мою голову не сечёт.

А народ всё знает — шумит, хохочет.

— Повесить его! В петле удавить! — велит Балдей.

Вкопали в землю висельный глаголь. Накинул палач петлю. Выбил палач из-под Фокиных ног берёзовый обрубок. Взвизгнули девки, заголосили бабы, завопили старухи. А верёвка оборвалась.

— Что же это, царь? — говорит Фока. — Твоя верёвка моего тела не выдерживает.

Белее снега сидит в царских носилках Балдей. Ржой покрылось лицо думного дьяка Пустая Голова. Присмирела дума.

— Утопить его! — кричит Балдей. — В реку кинуть.

Ухмыльнулся на эти слова Фока да и молвит:

— Как можно утопить человека, когда за него народ стеной стоит!

Стали привязывать камень к Фокиной шее те же люди, которые восковой топор палачу подсунули и прелую верёвку подсудобили.

Привязали они ему на шею вместо камней крашеную сосновую кору, положили под рубаху надутые бычьи пузыри да и кинули в реку.

Опять взвизгнули бабы, заголосили старухи. А Фока на плаву из реки кричит царю:

— Что же, царь, твои камни не тонут, мешки с песком под моей рубахой меня ко дну не тянут?

Позеленел Балдей, почернел злой царь. Хотел было Обалдуев сын Фоку огнём казнить, да нутро у Балдея пламенем занялось, задымилось и сгорело.

Был царь — и нет царя.

Ликует народ. Поёт народ. В колокола звонит. Тружеников прославляет.

Фоку первым старостой называет.

Хорошо зажил Фока. В чести. Умом свою державу прославил и весёлую сказку после себя оставил.

Эту!

Как самовар запрягли

Про одно и то же разные люди по-разному сказки сказывают. Вот что я от бабушки слышал… У мастера Фоки — на все руки доки сын был. Тоже Фокой звали. В отца Фока Фокич дошлый пошёл. Ничего мимо его глаз не ускользало.

Всему дело давал. Ворону и ту перед дождём каркать выучил — погоду предсказывать.

Сидит как-то Фока Фокич — чай пьёт. А из самовара через паровик густо пар валит. Со свистом.

Даже чайник на конфорке вздрагивает.

— Ишь ты, какая сила пропадает! Не худо бы тебя на работу приставить, — говорит Фока Фокич и соображает, как это сделать можно.

— Это ещё что? — запыхтел-зафыркал ленивый Самовар. — С меня и того хватит, что я кипяток кипячу, чайник грею, душеньку песней веселю, на столе красуюсь.

— Оно верно, — говорит Фока Фокич. — Только песни распевать да на людях красоваться всякий может. Неплохо бы тебя, Самовар, хлеб молотить приспособить.

Как услыхал это Самовар — вскипел, кипятком плеваться начал. Того гляди, убежит. А Фока Фокич сгрёб его да на молотильный ток вынес и давай там к нему рабочее колесо с хитрым рычагом пристраивать.

Пристроил он колесо с хитрым рычагом и ну Самовар на полный пар кипятить. Во всю головушку Самовар кипит, колесо вертит, хитрым рычагом, как рукой, работает.

Переметнул Фока Фокич с рабочего колеса на молотильный маховичок приводной ремень и:

— Эх, поспевай, не зевай, снопы развязывай, в молотилку суй.

Стал Самовар хлеб молотить, паровой маши-

ной прозываться. А характер тот же остался. Сварливый. Того гляди, от злости лопнет — паром обварит.

— Вот ты как! — говорит Фока Фокич. — Погоди, я тебе работёнку получше удумаю.

Долго думать не пришлось. Захромала как-то у Фоки Фокича лошадь. А в город ехать надо. И надумал Фока Фокич Самовар запрячь.

Повалил Фока Фокич Самовар набок. Загнул ему трубу, чтобы она в небо глядела. Приладил под него крепкие колёса. Отковал хитрые рычаги-шатуны да и заставил их колёса вертеть. А чтобы Самовар со злости не лопнул, добрым железом его оковал. Потом прицепил к Самовару тарантас, а к тарантасу телегу, загрузил чем надо, поднял пары и:

— Эх, поспевай, куда надо поворачивай. Пару поддавай.

Стал Самовар людей и поклажу возить — паровозом прозываться. А характером ещё злее стал.

— Ну ладно, — говорит Фока Фокич. — Я тебе не такую работу удумаю.

Опять долго ждать не пришлось. Лето безветренное выдалось. Паруса на кораблях, как трава в засуху, сникли. А за море ехать надо. Хлеб везти.

Тут-то и надумал Фока Фокич Самовар на ко-

рабль перенести.

Сказано — сделано. Трубу ещё выше нарастил. Самовар в трюм поставил.

Корабельные колёса смастерил, а к ним шатунные рычаги приспособил и:

— Эй, не зевай, успевай! Рулём рули — куда надо правь.

Начал Самовар людей да товары за море возить — пароходом прозываться.

Тут-то уж он вовсе послушным стал. Уступчивым.

Вот как оно, дело-то, было. Другие, может быть, и по-другому рассказывают. Только моя бабушка врать не будет. Сама она это всё видела и мне пересказала. А я — вам.

Золотой гвоздь

Без отца Тиша рос, в бедности. Ни кола, ни двора, ни курицы. Только клин отцовской земли остался. По людям Тиша с матерью ходили. Маялись. И ниоткуда ни на какое счастье надежды у них не было. Совсем мать с сыном руки опустили:

— Что делать? Как быть? Куда голову приклонить?

В четыре ручья слёзы текут, в два голоса голосят. И есть отчего.

Только вытьё да нытьё никогда делу не помогали. Так им и сказала одна старушоночка и присоветовала к кузнецу Захару сходить.

— Он, — говорит, — всё может. Даже счастье куёт.

Как услыхала это мать, к кузнецу кинулась:

— Захар, ты, сказывают, можешь моему злосчастному сыну счастье выковать.

А кузнец ей:

— Что ты, вдова! Человек сам своему счастью кузнец. Посылай сына в кузницу. Может быть, и скуёт.

Пришёл Тиша в кузницу. Потолковал с ним кузнец и говорит:

— Твоё счастье, парень, в золотом гвозде. Золотой гвоздь скуешь, и он сам тебе счастье принесёт. Ты только подсобляй ему.

— Дяденька Захар, да я же отродясь не ковывал!

— И я, — говорит кузнец, — не кузнецом родился. Раздувай горн.

Стал кузнец показывать, как горн раздувать, как мехи качать, как уголья подсыпать, как железо огнем мягчить, как клещами поковку брать. Не

сразу у Тихона дело пошло. И руки ломит, и ноги болят. Спина вечером не разгибается. А кузнец за отца ему полюбился. Да и Тиша кузнецу по руке пришёлся. Не было у кузнеца сына, только дочь. Да и та такая бездельница — лучше не вспоминать. Откуда ей без матери рукодельницей быть? Ну, да не о ней пока речь.

Пришло время, Тиша за молотобойца стал.

Взял как-то кузнец старый шкворень и говорит:

— Теперь давай из него золотой счастливый гвоздь ковать.

Ковал Тиша этот гвоздь неделю, другую, и с каждым днём гвоздь краше становился. На третью неделю кузнец говорит:

— Не перековать бы, Тихон! Счастье меру любит.

Не понял Тиша, к чему такие слова кузнец говорит. Не до них ему было.

Очень ему гвоздь полюбился. Глаз с него не сводит. Одно горько — угас золотой гвоздь. Остыл. Потемнел.

— Не горюй, Тиша, позолотеет, — говорит кузнец.

— А когда он позолотеет, дяденька Захар?

— Тогда позолотеет, когда ты ему дашь всё, что

он просит.

— Ничего он, дяденька кузнец, не просит.

— А ты, Тиша, подумай. Неужели гвоздь для того выкован, чтобы без дела валяться?

— Это да, дяденька Захар. Гвоздь куда-нибудь вбить надо. Только во что, дяденька Захар, его вбить? У нас ни кола, ни двора, ни ворот, ни тына.

Кузнец думал-думал, тёр-тёр лоб да и сказал:

— А ты вбей его в столб.

— А столб где взять?

— В лесу выруби да в землю вкопай.

— А я ведь сроду не рубливал, и топора у меня нет.

— Так ведь ты и не ковывал сроду, а вон какой гвоздь сковал. И топор скуёшь. И дерево им вырубишь.

Опять засопел-задышал кузнечный мех, искры полетели. Не сразу, не с маху, а через три дня выковал парень топор — и в лес. Облюбовал Тиша сосенку и ну рубить. Не успел бедняга и кору пересечь, как схватил его лесник:

— Ты зачем, вор-разбойник, лес рубишь?

Тиша на это по-хорошему ответил, кто он, и откуда, и для чего ему нужен сосновый столб.

Лесник видит, что перед ним не вор, не разбой-

ник, а вдовий сын, кузнеца Захара выученик.

— Вот что, — говорит, — коли тебя кузнец научил, как золотой гвоздь сковать, и я тебе помогу. Иди в лес, делянку вырубы, за работу столб получишь.

Делать нечего, пошёл Тиша в лес. День рубил, два рубил, на третий день делянку вырубил. Столб получил, на отцовскую землю его снёс. А земля бурьяном, полынью, репейником заросла. Некому работать на ней было.

Притащил Тиша столб, а вкопать его нечем.

— Да зачем тебе о лопате горевать! — говорит ему мать. — Гвоздь сковал, топор сковал — неужели лопату не загнёшь?

Дня не прошло, смастерил Тиша лопату. Глубоко вкопал столб, счастливый гвоздь вбивать начал. Невелик труд гвоздь вбить, когда свой топор, а у топора такой обух, что плясать на нём можно. Вбил гвоздь Тиша и ждёт, когда он золотеть начнёт. День ждёт, два ждёт, а гвоздь не только не золотеет, а буреть начинает.

— Мамонька, глянь-ка, его ржа ест. Видно, он чего-то ещё просит. Надо к кузнецу сбегать.

Прибежал к кузнецу, всё как есть рассказал, а тот на это и говорит:

— Не может быть гвоздь без дела вбит. Всякий

гвоздь свою службу нести должен.

— А какую, дяденька Захар?

— Сходи к людям и погляди, как им гвозди служат.

Пошёл Тиша по селу. Видит — одними гвоздями тёс пришивают, другими, самыми тоненькими, драньна крышах прихватывают, на третьи, на самые большие, сбрую, хомуты вешают.

— Не иначе, мамонька, на наш гвоздь хомут надо повесить. Не то ржа всё моё счастье съест.

Сказал так Тиша и отправился к шорнику.

— Шорник, как хомут заработать?

— Это плёвое дело. Поработай у меня до сенокоса, а от сенокоса до снега. Вот тебе хомут и сбруя будет.

— Ладно, — говорит Тихон и остался у шорника.

А шорник тоже из Кузнецовой породы был. Утруждать Тишу не утруждал, но и без дела сидеть не давал. То колодки для хомутов велит пристрогать, то дровец наколоть, то десятину пропахать. Не всё сразу получалось. Трудновато бывало, а от хомута отступиться боязно. Не может быть гвоздь без дела вбит.

Пришло время — пришёл расчёт. Получил Тихон самый лучший хомут и полную сбрую.

Принёс это всё и повесил на гвоздь.

— Золотей, мой гвоздь! Всё для тебя сделал.

А гвоздь, как живой, нахмурился из-под шляпки, молчит и не золотеет.

Тиша опять к кузнецу, а кузнец опять своё:

— Не может хороший хомут со сбруей зря на гвозде висеть. Для чего-то висит хомут.

— А для чего?

— У людей попытай.

Не стал больше Тиша у людей пытать, задумался. Крепко задумался о коне. Думал, думал да и надумал.

Рубить он теперь мог, шорничать тоже умел, ну, а уж про кузнечное дело и говорить нечего. «Золотого гвоздя, — решил про себя Тихон, — не скую, а подручным стоять не оробею».

Простился с матерью и пошёл коня зарабатывать.

Году не прошло — прискакал Тихон на своём коне в родное село.

Народ не налюбуется:

— Ах, какой конь! И откуда ему такое счастье?

А Тиша мало на кого глядит, к столбу подворачивает.

— Ну, гвоздь, теперь у тебя — хомут, у хомута — конь. Золотей!

А гвоздь как был, так и есть. Тут Тихон хоть и тихим был, а накинулся на гвоздь:

— Ты что, ржавая твоя шляпка, надо мной издеваешься!

А на ту пору у столба кузнец случился:

— Ну что тебе, Тихон, бессловесный гвоздь сказать может? Не золотеет — значит, ещё чего-то просит.

— А чего?

— Мыслимое ли дело, чтобы столб, гвоздь, хомут да конь под дождём мокли!

Стал Тиша столб крышей покрывать. Покрыл, а гвоздь не золотеет.

«Видно, мало ему одной крыши», — решил про себя Тиша и принялся стены рубить. Теперь-то уж он всё мог.

Долго ли, коротко ли рубил Тиша стены, а гвоздь как был, так и есть.

— Да позолотеешь ли ты когда-нибудь? — крикнул в сердцах Тихон.

— Позолотею. Обязательно позолотею.

У Тихона глаза на лоб полезли. До сей поры гвоздь молчал, а тут на — заговорил! Видно, в самом деле не простой он сковал гвоздь. А то, что кузнец в это время на крыше лежал, Тихону невдомёк. Молод ещё был, не научился ещё

сказки, как орехи, раскусывать да ядра из них выбирать. Со скорлупой глотал.

— Чего же тебе ещё, гвоздь, надобно?

На это вместо гвоздя конь Тише ответ проржал:

— И-и-хи-хи… Как мне жить без сохи!.. И-и-и…

— Да ты, Буланко, не ржи так жалобно. Если уж я тебя заработал, так соха будет. Сам лемех скую и оглобельки вытешу.

Сковал, вытесал, поперечины наладил, а на гвоздь не идёт смотреть. Не до того как-то стало.

Другое в голову вошло.

Коли гвоздь хомут попросил, хомут — коня, конь — соху, надо думать, соха пашню запросит.

Запряг Тихон коня в соху. Конь ржёт, соха пласт режет, пахарь песенки попевает. Народ в поле высыпал, на Тишу глядит. Матери девок-невест вперёд себя выпихивают. Авось какая приглянется. И кузнецова дочка тут же, на пашне. Так и ходит за ним, как галка по борозде. Нечесаная, немытая.

— Тишенька, возьми меня замуж! Помогать тебе стану.

Тихон даже шарахнулся от этих слов. Соха в сторону вильнула. Конь не по-хорошему озираться начал, кузнецова страшилища пугается…

— В своем ли ты уме, пугало? — говорит ей Тихон. — Кому ты такая нужна! Разве на огород — ворон пугать. Так у меня ещё и огорода нет.

А она:

— Я тебе посажу огород, а сама потом пугалом стану, только бы видеть тебя, Тишенька…

Несуразными показались ему такие слова, а к сердцу припали: «Ишь ты, как любит! Пугалом соглашается быть, лишь бы видеть меня».

Ничего не ответил он кузнецовой дочери — к кузнецу пошёл.

А кузнец его давно поджидал:

— Тихон, чего я тебе сказать хочу: твой счастливый гвоздь завистники вытащить хотят да в свою стену вбить.

— Это как же, дяденька Захар? Что делать теперь? Не иначе, что караулить надо.

— Так, милый сын, так, — поддакивает кузнец. — Только караулить как? Дождь осенью. Снег зимой. Избу ставить надо.

А Тихон ему:

— Я только подумал, а ты уже сказал. Пойду избу рубить. Топор у меня есть, силы хоть отбавляй. Никакого дела не боюсь.

Опять высыпал народ. Опять невесты гуртом. А он рубит — только земля вздрагивает да сол-

нышко смеётся. И светлому месяцу было на что поглядеть-порадоваться, Тихон и ночи прихватывал.

Пришла осень. Сжала вдова хлеб. Тихон обмолотил его, а конь на базар свёз. Утварь всякую в новый дом приволокли. А гвоздь не золотеет. И на душе невесело.

— А отчего-почему, милый сын, на душе невесело?

— Один я, мамонька, вперёд других выскочил. Дружков опередил, товарищей оставил. Себе гвоздь вбил, от них счастье скрыл.

— Да ты что, Тиша? Всякий сам своему счастью кузнец. Так ведь тебя Захар учил?

— Так-то оно так, — ответил сын. — Только дяденька Захар и про то говорил, что на миру и смерть красна, а в одиночку и счастье плесневеет.

Мне все помогали: и кузнец, и шорник, и лесник. А я кому?

Сказал так Тихон и пошёл к дружкам-товарищам. Кому верное слово скажет, кому добрый совет даст, а кому и своими руками подсобит. Вдове крышу покрыл. Старику сани справил. Лентяя усовестил. Юнцов к делу приставил.

Зазолотел гвоздь! Со шляпки начал — до се-

редины дошёл. Счастье весельем в новый дом заглянуло, дружбой людской зацвело. Не нахвалится народ на Тихона. До того дело дошло — его, неженатика, по батюшке величать начали, на миру выкликать. А гвоздь день ото дня пуще горит.

— Теперь, — говорит кузнец, — только жениться — не ошибиться. Без огня в избе светло будет.

— А какую-чью ты ему дочь присоветуешь, чтобы ошибки не было?

— Ровню.

— А кто ровня?

— Моя Дунька, — говорит кузнец.

— Ах ты, чумазый мошенник! — взъелась вдова. — Эта кикимора — ему ровня? Немытая, нечёсаная, к делу не приученная? Она ему ровня? Ему, маковому цвету, золотым рукам, богатырским плечам, налитому телу? Да разве это дело? Слыхано ли, чтобы орел галку замуж брал?

— А кто, вдова, его орлом сделал?

— Как кто? Гвоздь!

— А кто гвоздь ему подсобил сковать?.. Кто?

Тут вдова вспомнила всё, и совесть в ней заговорила. Совесть говорит, и любовь материнская свой голос подаёт. Жалко ей на этакой неумехе сына женить.

Жалость в левое ухо нашептывает вдове: «Не губи сына, не губи». А совесть в правое ухо своё твердит: «Без матери кузнецова дочь росла, неряхой-непряхой выросла. Он твоего сына пожалел, как тебе его дочь не приголубить!»

— Вот что, кузнец, — говорит вдова. — С первым снегом Тиша на заработки повёзет дружков-товарищей, которым он не два, не три десятка золотых гвоздей вбил. Пусть тогда твоя Дуня ко мне приходит. Да скажи, чтобы она мне ни в чём не перечила.

Выпал первый снег. Повёз Тихон дружков-товарищей на заработки — гвозди золотить. Явилась Дунька ко вдове.

— Слыхала я, Дуняша, будто тебе охота моему сыну приглянуться.

— Уж так охота, тётенька, так охота! — заливается черномазая Дуня слезами и грязь по лицу размазывает. — Себя бы наизнанку вывернула, только бы он с глаз долой не прогонял.

— Ну, коли так, будем стараться. Я ведь, Дунюшка, как и твой отец, колдую, когда придётся.

Сказала так вдова и подала Дуне веретешко:

— Неказистое оно, Дуня, а силу большую в себе прячет. Дед мой как-то бабу-ягу в лесу поймал, порешить хотел. А она от него этим веретешечком

откупилась. Сильное веретено.

— А в чем его сила, тётенька? — спрашивает Дуня и на веретешечко косится.

Вдова на это и отвечает ей:

— Если этим веретешечком спрясть нитку тонкую да долгую, то кого хочешь этой ниткой к себе привязать можно.

Тут Дуня повеселела — и хвать веретено:

— Давай, тётенька, я прясть буду.

— Что ты! Разве такими руками немытыми да с такими волосьями нечёсаными можно пряжу начинать? Беги домой, умойся, оденься, в баньке выпарься, тогда и прясть будешь.

Сбегала Дуня домой, умылась, оделась, выпарилась — и красавицей пришла к вдове.

Вдова чуть с лавки не упала — и ну обнимать да целовать Дуню:

— Скажи на милость, какая ты! Давай прясть.

Села Дуня прясть, а веретешечко не вертится, нитка не крутится, куделя бугром-комом тянется, а слёзы как жемчуга катятся.

— Ничего, ничего, Дунюшка. Так ли мой Тиша ковать учился, так ли лес рубил, так ли хомут зарабатывал… Пряди!

День прядёт, два прядёт. На третий день нитка получаться стала.

— Гляди, тётенька. Теперь привяжу.

А вдова посмотрела на гвоздь, ухмыльнулась чему-то да и говорит:

— Такой ниткой не привяжешь. Из такой нитки только мешковину ткать. Доходи до дела.

— А когда я, тётенька, до дела дойду?

— А тогда дойдёшь, как веретешечко золотеть начнёт.

Принялась Дуня опять за работу. Моток за мотком прядёт, а веретешечко как было, так и есть. За окном уж морозы трещат, метели метут, а веретешко не золотеет.

Испряла Дуня всю куделю и залилась слезами.

Вдова к ней:

— Не горюй, милая дочь. Веретешечко-то, видно, не лучше гвоздя. Мало, значит, ему одних ниток. Холста требует. Давай ткать.

— Что ты, тётенька! Нитки изоткём, чем тогда я Тишу к себе привяжу?

А вдова ей в ответ:

— Нитка в мотке — нитка, а в холсте — сила.

К весне Дуня изоткала все нитки. Много холста получилось. Только не знает Дуня, как с холстом быть.

— Рубаху, Дунюшка, надо из холста сшить. Как наденет рубаху, так и твой.

Принялась Дуня за новое ремесло. Где вдова ей подскажет, где сама догадается.

На славу рубаха сшилась, только глаз остановить не на чем: холст и холст. Не стала тут Дуня совет с вдовой держать — сама придумала, как рубаху изукрасить. Накупила шёлку-бисеру, серебра-золота — и ну рубаху расшивать-вышивать. Не руки, не разум, а сама любовь по рукавам, по вороту жаркий узор выводила. Маком цветёт он. Золотом светит. Серебром отсвечивает. Бисером горит.

Глянула вдова на рубаху и чуть языка не лишилась. Глаза ломит узор, сердце щемит.

«Непременно веретешко позолотеть должно!»

Схватила она веретешко да тайно к кузнецу прибежала:

— Сказывай, разлюбезный мой сват, черномазый ты мой мошенник, чем гвоздь золотил?

— А тебе зачем?

— Веретешко позолотить надо.

— Аль и моя до дела дошла?

— Да приди погляди, какой узор она вышила. Царевича ослепить можно.

Кузнец открыл сундук, вынул снадобье и давай золотить веретено.

— Да ты не жалей позолоты, хитрец. От конца до

конца золоти. Стоит она того, — говорит вдова и кузнеца торопит: охота скорее Дуню порадовать.

Позолотили веретешко и оба, как молоденькие, вприпрыжку да вскачь рубаху глядеть побежали.

Прибежали ко вдовьему дому, глядят, ворота полые, во дворе Тишин конь стоит. Вошли в избу, а в избе Тихон в новой рубахе красуется и с Дуни глаз не сводит. Тут вытянул кузнец из стены золотой гвоздь, вынула из рукава вдова золотое веретено, да и обручили ими жениха с невестой.

Народищу, дружков-товарищей — полон двор. Все сбежались. Всем любо Тихоново счастье видеть… Потому что он никого золотыми гвоздями не обошёл и кузнецову хитрую позолоту трудовой правдой повернул. Для всех. Для каждого. Ни от кого не скрыл. Приходи и бери! Вбивай свой золотой гвоздь, если руки есть…

Самоходные лапотки

Три сына при отце жили. Земли у отца было мало. Одну десятину на троих не разделишь. Да и одну лошадь тоже натрое не раздерёшь. Вот и придумали братья ремеслами промышлять. Жить-то ведь надо.

— Я по городам пойду ремесло искать, — говорит старший сын. — За которое больше платят, то моё и будет.

— А я, — говорит средний сын, — стану по базарам ходкий товар высматривать. Какой ходчее идёт, тот и делать буду.

До младшего очередь дошла.

— Чем ты, мил сын, промышлять будешь?

— Хотелось бы мне, тятенька, научиться лапти плести. Всегда в спросе.

Засмеялись братья:

— Дурень и есть дурень. В спросе-то они в спросе, да цена-то за этот спрос с воробьиный нос. Вот оно что.

Поговорили так братья и разошлись.

Идёт старший по городам и видит — мастера чаёвничают. Подсел. Слушать стал, о чём мастера беседуют.

— А я сто одну деньгу зарабатываю, — хвалится каменщик. — Одну деньгу для души в трактир отдаю, а сто денег в дом несу.

Как старший сын услышал эти слова, и думать больше не стал. Доходнее каменного ремесла не найдёшь.

— Возьми меня, каменщик, в выученики.

Посмотрел каменщик — парень здоровый, пле-

чи широкие, руки сильные и, видать, глазастый.

— Возьму, — говорит, — если ты ремесло ниже денег ставить не станешь.

Взял его и начал каменному делу обучать.

Второй сын идёт по базару и видит — дуги хорошо разбирают. А старичок-дуговичок, который дугами промышлял, возьми да похвались:

— Мошна у меня, как дуга, туга. Что ни дужка, то полтина с полушкой.

Полушку — на косушку, полтину — домой.

Как услышал это средний сын — тут же порешил дуги гнуть.

А младший лыка надрал, колодочек лапотных настроил и плетёт себе лапоть за лаптем. Один с косиной, другой с слабиной, третий — в руки взять совестно. Парни-однолетки, девки-невесты в один голос бедняжку просмеивают, недоумком лапотным величают. А он плетёт себе да плетёт. Одна неделя проходит, другая начинается. Полная баня лаптей, а обуться не во что. На пятую неделю от лаптей вовсе тесно стало, сын-то и говорит отцу:

— Тятенька, дай лошадь, я на базар лапти повезу.

Дал отец лошадь. Привёз мастер свои лапти да и свалил их в кучу.

— Почем, парень, лапти? — спрашивает народ.

— По совести.

— По какой такой совести?

— Подходи, выбирай по ноге. Если совесть заговорит — скажет, сколько заплатить надо. А если совесть промолчит, — значит, даром носи.

Много народишку налетело на даровые лапти. Живёхонько разобрали. Кто грош, кто полушку кинет, а другой не то что полушку или грош, а ещё к лаптям приплату просит.

— Коли, — говорит, — по совести, так по совести. Полушку заплатишь — так и быть, потешу тебя, малый, твою худую работу на свои добрые ноги обую.

Делать нечего, приплачивает мастер к своим лаптям, а сам смотрит, какие лапти складнее на ногах сидят, за какую пару приплаты не просят, а деньги дают.

Расторговался парень — ни лаптей, ни денег. А песни поёт.

— Ты что, мил сын, больно весел? Аль выручку большую привёз?

— Не выручку, тятя, а выучку. Выучка дороже всего.

Сказал так и пошёл лыко драть — и опять за лапти.

А той порой старший брат, подучившись коечему, камни кладёт, торопится, а средний дуги гнёт, поспешает.

Пока меньшой сто лаптей сплёл, старший много кирпича выклал, а средний того больше дуг нагнул.

Пришло время братьям встретиться.

— Ну, милые мои сыны, — говорит отец, — сказывайте, как ремеслами промышляете.

— Я, тятя, каменным ремеслом занялся. Сто одну деньгу зарабатываю. Скоро отделюсь, своей семьёй заживу.

Похвалил отец старшего и среднего слушать принялся.

— У меня, тятенька, мошна будет, как дуга, туга. Что ни дужка, то полтина с полушкой. Знай наших!

Дошла очередь до младшего:

— Моя работа вся на виду. Базар цену скажет.

Погостили сыны у отца и в путь собрались: старший — деньги за каменную работу получать, средний дуги повёз на базар продавать. А младший-то и говорит им:

— Братцы, не захватите ли вы и мою работу? Вдруг да грош с полушкой выручите, и то нам с тятенькой деньги.

Поглядели братья на лапотную работу и говорят:

— Если по паре лаптей дашь — свезём.

— Да хоть по две, братцы, берите, — говорит младший, а сам радуется.

И есть чему. Если уж братья-мастера — один каменщик, другой дуговик — его работу обувают, то уж простой-то человек верняком обует.

Приехал старший брат в город деньги получать, а заместо денег ему по загривку сулят, стены на все корки ругают.

Тут старший к каменщику кинулся. А тот сидит в трактире и на одну деньгу чаи с баранками распивает, а за пазухой у него сто денег лежат.

— Ах ты такой-сякой, немазаный, сухой! Чему ты меня выучил? Мои стены на все корки ругают. Деньги не платят. По загривку сулят.

А тот чаёк попивает да посмеивается:

— Разве я тебя, торопыгу, учил ремесло ниже денег ставить? Вот и получай взашей.

Делать нечего. Каменное дело не к рукам пришлось, надо новое ремесло искать. Продал он половину братовых лаптей да домой и поворотил.

Средний той порой на базаре дуги расставил, а вторую половину лаптей в кучу свалил. У лап-

тей от покупателя отбоя нет, а на дуги даже и не глядят.

Продал он все лапти, а дуги на базаре оставил. Их и даром никто не берёт.

По дороге нагнал средний брат старичка-дуговичка да и спрашивает:

— Скажи, старичок-дуговичок, почему у тебя дуги идут, а у меня лежат?

— Потому, — говорит старик, — что у тебя дуги простые, а у меня самоходные.

— Какие такие самоходные? — стал добиваться средний брат.

А старик как воды в рот набрал, только посмеивается.

Опять сошлись братья у отца. Опять их отец спрашивает, как они ремеслами промышляли. Первым стал старший сказывать:

— Обмануло меня каменное ремесло. Еле на харчи заработал да вот продольную пилу купил. В бревне много денег. Надо только их досками да тёсом выпилить.

— И я, тятя, другое ремесло нашёл, — сказал средний. — Много ли на дуге выгнешь? Полтину с полушкой. Горшки лепить буду. Станок куплю.

— Ну а ты, меньшой, что скажешь? — спросил отец.

— За меня братья скажут. Они лапти продавали.

— За твои лапти по загривку надавали. Еле ноги унесли.

— А что в них не так?

— А то в них не так, что ты ремесло ниже денег ставишь, — сказал старший брат, а средний поддакнул:

— И к тому же лапти твои простые, а не самоходные. Я их на базаре бросил.

Задумался младший брат и ещё злее за работу принялся.

И братья своим делом занялись. Один тёс-доски пилит, другой горшки-плошки лепит.

Опять пришло время на базар ехать. Опять младший просит братьев счастье испытать.

Братья видят — нечем лапти похаять, а хают:

— Для тебя только, как для меньшого… Авось грош с полушкой заработаешь.

Большой базар собрался. Братья свой товар расставили, народ зазывают:

— А вот горшки, плошки!..

— Кому тёс, бруски, доски!..

А про лапти ни слова. Потому как их они до базара не довезли, по дороге продали.

Чуть не все в новых лаптях ходят да похвали-

вают:

— Ах, какая обужа! Сапоги снимешь — лапти обуешь. До чего хороши, до чего легки да увёртисты.

Лапти хвалят, а от горшков с тёсом нос воротят. Из милости доски на дрова взяли, а горшками с плошками дорогу вымостили. И то польза.

Приехали братья с обновками да с гостинцами, лапотными деньгами похваливаются:

— Ах, как доски ходко шли!

— А горшки нарасхват. Не нахвалится народ: до чего хороши, легки да увёртисты… Ну, конечно, и лапти кое-какие продали. Вот тебе, братец, выручка.

Подали они меньшому брату полтинник с денежкой. Младший брат от радости заплясал, песни запел.

— Ну, теперь я, братцы, самоходные лапти плести начну, которые вперёд денег ходят.

«Плети, дурень, плети. Мы тебя опять оплетём».

Посмеялись над лапотным мастером братья и за дело принялись. Они всё-таки не совсем бессовестные были. Хотелось старшему брату хоть одну доску выпилить, которая в дело пойдёт. И среднему перед собой совестно было, что его

горшками дорогу мостят. Тоже стараться стал.

Опять пришло время на базар ехать. Горшки, доски на воз погрузили, под лапти три подводы наняли.

— Давай, младший братец, услужим тебе. Может, два полтинника да две денежки привезём.

А он наотрез:

— Нет. Не хочу я больше срамить вас своей лапотной работой.

— Да что ты, братец! Да мы для тебя хоть в огонь, хоть в воду. На всё согласны. Ты у нас меньшой.

А младший своё:

— Зарок я дал самоходные лапти сплести.

— Какие такие самоходные? Ты что?

— А такие, которые вперёд денег сами идут.

Тут братья давай уговаривать младшего. А он ни в какую:

— Ни одного лаптя из бани не выпущу, пока сам не пойдёт.

Те к отцу:

— Тятенька, цыкни ты на него! Гляди, какие он слова говорит.

А отец-то давно понял, что за доски пилятся, какие горшки лепятся.

— Нет уж, сыны. Вас я не принуждал и меньшого неволить не буду. Охота ему самоходные лапти

сплести — пусть плетёт.

Те опять:

— Да разве лапоть может сам пойти? Ты, тятя, что?

А отец им:

— Сами же сказывали, что нужны не простые лапти, а самоходные. Значит, такие лапти есть.

Делать нечего, поехали братья на базар с кривыми горшками да с косыми досками. По дешевке, совсем задарма, доски да горшки продали.

Гроши да копейки выторговали.

Тут-то подошёл к ним старичок-дуговичок да и сказал:

— Вы бы, братцы, лучше лапотки привезли. Молчком бы продали.

Как только это сказал старичок, народ-то и признал братьев. И ну расспрашивать, почему лаптей нет да из какой они деревни. Братья то да сё, отнекиваются, дорогу к меньшому брату не сказывают, околесицу плетут.

Народ видит, что братья чистую воду мутят, — давай допрос чинить. А на базаре бабёночка случилась, которая всех трёх братьев знала. Она-то и рассказала всё как есть.

Тут народ зашумел. Которые подвыпивши, руками стали размахивать и калёными словами

бросаться. Братья еле ноги унесли. Приехали домой, хотели было отцу выплести семь вёрст до небес и всё лесом, как слышат — весь базар к старой бане подъехал.

— Что за диво?

— Что такое?

Глянули, а старые люди шапки ломают, почтенные мужики спину гнут, младшенького брата уговаривают лаптями оделить, Иваном Терентьевичем величают:

— Ну, скажи ты на милость, Иван Терентьевич, как народу без лаптей жить! Продай хоть по паре на рыло.

А младшенький хоть и оробел маленько, а свое гнёт:

— Я зарок дал самоходные лапти сплести, а до той поры из бани не выходить.

Тут старичок-дуговичок выходит вперёд и говорит:

— Твои лапти, Ванёк, давно самоходными стали. Сами идут. И на базар их возить не надо.

— Тогда другое дело, — сказал мастер. Сказал и стал из старой бани лапти выкидывать. — Берите, кому какие по ноге. Продаю по совестливой цене.

Кто сколько даст — такая и цена лаптям… Тя-

тенька, получай деньги. У меня ещё одна пара не доплетена. Солнце-то уж садится. Урок кончить надо.

Народ было принялся лапти хватать, только старичок-дуговичок не дал — сам лаптями стал каждого оделять. Кто пять пар просит — он две даёт, кто две — он одну.

— Один мастер весь мир не обует. Каждому охота в такой парочке покрасоваться!

Разделил дуговик все лапти. Народ полну котомку денег навалил, не подымешь. Братья стоят ни живы ни мертвы, отцу глянуть в глаза боятся.

Тогда старичок-дуговичок и говорит среднему брату:

— Не одни дуги самоходными гнутся. И лапти такими плетутся, и доски такими пилятся, и горшки лепятся.

Крепко с того дня задумались братья. Задумались и за дело принялись.

Много ли, мало ли дней прошло, только стал пилить старший брат самоходные доски, а средний самоходные горшки обжигать.

Из-под пилы доски рвут. Горшкам после обжига остынуть не дают.

Ну, а про лапти уж и говорить нечего.

В чести братья зажили. Звонко у них дело

пошло, самоходно. А как оно у вас идёт — вам лучше знать. А я чего не знаю, того не знаю.

Замóк без ключа

Эта сказка ещё в кои веки, давным-давно сказываться начала, а досказаться и по сей день не досказалась. И живёт она как изба без крыши, как шуба без воротника, как петух без голоса.

И кто только её ни досказывал — дедов дед, бабкина прабабка, седой мудрец, рыжий хитрец, — никто не сумел досказать. И я не берусь. Кому надо, тот пусть её и заканчивает. Мое дело начать…

Жил да был весёлой и горластой души человек, по прозванию Шумило Горланович Якалкин. Прозвали его так за то, что без «я» он двух слов вымолвить не мог. Якал на каждом слове: я да я. Хвастовством начинал, похвальбой заканчивал.

Чуть что где — Якалкин громче всех шумит. Болото ли народ осушать вздумает, непаханую ли землю пахать начнёт или, скажем, колодец к руде бить — Якалкин тут как тут:

— Братцы! Браты! Брательники! Я горы ворочать могу! Я реки могу вспять пускать! Я всё могу.

Молчат люди, а про себя думают: «На деле тебя проверим, тогда и судить будем».

Жил да был другой человек, по прозвищу Тихей Молчанович Улыба.

Поклончивый такой человек, тихий. Молчаливый. Улыбчатый. Не слыхать, не видать. Себя не выказывает, глотку не дерёт, разговоров не заводит, теневой стороной ходит. Одним словом, все три прозвания — Тихей Молчанович Улыба — не зря ему в сказке даны. И добавить к ним нечего.

Задумал как-то народ пруд прудить и на нём большую пильную мельницу ставить. Якалкин первым на сход прибежал. Руками машет, языком пашет, словесами сеет, похвальбой приборанивает. Если каждому его слову взойти, так за три года урожай не убрать.

А Тихей той порой на брёвнышке сидит, молчит, всякое слово улыбчато слушает, как пряник кушает.

Посудили, порядили, плотину застолбили, работать начали.

Хвастун Похвальбеевич в новой кумачовой рубахе вышел. Рукава чуть не выше плечей засучил. Лопату так наточил, что бриться ею впору. Черенок у лопаты стеклом выскоблил, кожей вылощил. Валяную шляпу петушиным пером

изукрасил.

— Эх, шляпа хороша! — хвалится Якалкин. — От солнца глаза застит и от других меня отличает. Все меня по перу увидят, заметят, как ходко я землю швыряю, как круто плотину наращиваю.

А Тихей Молчанович молчком да шажком на работу вышел. В пестрядинной одежде, в долгополом зипуне, с простой малосильной лопаточкой. Ковыряет себе земельку да помалкивает.

— Вот это человек! — говорят старики. — Себя не выказывает. Не петушится. Не то что тот: я да я.

Минул день, другой пошёл. Якалкин горластее всех. Песню запел:

Всё могу и всё умею,
Я нигде не оробею…

Пришёл конец работе. Стали о каждом по делам судить. По труду. Старики замерять принялись — кто сколько? Считали они, мерили — самим себе не поверили. А когда народу объявили — шум поднялся.

— Как это так — Якалкин первым оказался? Всех перекрыл! За семерых сделал! Не может этого быть! Пересчитать надо, перемерить.

Ну ладно. Молодые стали перемерять. Всю

ночь считали. А утром ещё больше диву дались. Дивись не дивись, а цифирь своё показывает. Вышло, что старики вчера Якалкину за похвальбу меру поубавили. За десятерых с гаком он работу справил.

— Как же это ты мог?

А он им:

— Да я ещё не то могу. Не в полную силу работал. Тихея жалел. Вот начнёте пильную мельницу рубить, я три угла срублю, пока трое один угол рубят. Я так топор выточу, так его выострю, что у меня дерева сами со страху валиться будут. Потому как я мастер. В самую точку бью! По семь раз одну прирубку не прирубаю…

И пошёл — я да я:

Всё могу и всё умею,
Я нигде не оробею…

Ну ладно. Стали пильную мельницу ставить, сруб рубить.

Якалкин в шёлковой рубахе вышел, в плисовых штанах.

— Не могу, — похваляется он, — на работу оборвышем выходить. Для меня она праздник — весёлый день. Если на деле себя не показать, так где же показывать? Не в пляске же. Плясать

и медведь может, а топором душеньку тешить не всякий умеет…

И опять свою песню загорланил:

Всё могу и всё умею,
Я нигде не оробею…

Ну ладно. Снова пришло время о работе судить. Лесное начальство приехало — пильную мельницу принимать. По его подряду её рубили. Всем миром-собором углы считали, пригонку пазов ценили, плотноту конопатки проверяли.

А Якалкин ходит себе, зубы скалит да песенку попевает:

Всё могу и всё умею,
Я нигде не оробею…

В сотню глаз артель изъяны выискивает. И так и сяк хочет Горлановича осадить. Не выходит. Потому что народ правду любит. А правда всегда правдой остаётся.

— Что делать? Как быть? Неужто Якалкину почёт воздавать? Неужто ему наградной златоустинский топор, как первому мастеру, отдавать?.. Шумило же он! Ячное якало! Горластое кукарекало!..

Судит так, рядит народ, промеж себя шепчется.

А Якалкину мало горя:

Всё могу и всё умею,
Я нигде не оробею…

— Да тьфу тебе! — сердятся старики. — Похвальба ты, распохвальба неуёмная!

А делать нечего. Цифирь опять своё слово сказала:

— Становись, Шумило Горланович Якалкин, в первый ряд с правого краю…

Старики тебе, как первому мастеру, почетный топор подносить будут…

Поднесли топор. Поздравили. Самый старый здравицу сказывать стал.

Словами давится, а говорит. Величает. Воздаёт Якалкину почёт, а Тихей Улыба в сторонке стоит. В тени. Жалостливо так, улыбчато молчит. Даже сердце щемит.

Один из стариков заметил Улыбу и сказал:

— Его тоже приветить надо. Уж больно он тих, скромен да улыбочен.

Тут другой старик встрял:

— Тих-то он тих… Только из тихости да улыбчатости сруба не срубишь, пильной мельницы не поставишь, пруда не запрудишь.

— Зато скромность мир красит, — заспорил

третий старик. — Тихость да улыбка сердце радуют…

Тут и началось. Особенно когда хмельной ковш второй круг обошёл. Одни кричат:

— Хороша улыбка, да пашет неглыбко!

Другие в один голос:

— Мало тот значит, кто много «ячит». Говорун что тютюн — дымит да тлеет, а руки не греет.

А третьи наперекор:

— Так он-то ведь не без огня дымил. Правду сказывал. По рукам, по своей силе замахивался…

…И пошли-пошли плести хитрое словесное кружево, пословицами-присловицами сверкать. Так они по сей день спорят — ни до чего доспориться не могут. От этого и сказка не может досказаться. И живёт она, как птица без крыльев, как фонарь без огня как замок без отмычки. Может быть, вы какой ключик подберёте — так милости просим, подбирайте. Вам и жалую эту недосказанную дедову сказку. Вам её и досказывать по своему разумению. А я не могу. Некогда. Другую сказку из печи вынимать пора. Да вам с пылу, с жару на стол подавать.

Кушайте, пока она горяченькая. Эта-то уж с концом будет.